

18+

Синицын Игорь

Всего лишь врач

Игорь Сеницын
«Всего лишь врач»

«ЛитРес: Самиздат»

2012

Синицын И. В.

«Всего лишь врач» / И. В. Синицын — «ЛитРес: Самиздат»,
2012

Рассказ врача-хирурга о своем становлении в профессии и своих переживаниях, когда в пожилом возрасте он сам становится пациентом.

© Синицын И. В., 2012
© ЛитРес: Самиздат, 2012

«Разденьте его, и он исцелит.
А не исцелит, так убейте!
Ведь это врач, всего лишь
Врач»
Ф.Кафка

Как вице-консул, Мажуев Сергей Николаевич, обязан был присутствовать на вскрытиях граждан России и оставлять свою подпись на протоколе патолого-анатомического исследования. Он не был, что называется «карьерным» дипломатом. В прошлом он был спортсмен – чемпион Бурятии по вольной борьбе в тяжелом весе. В свое время его включили в национальный олимпийский комитет, и он объездил весь мир с нашей сборной в качестве чиновника комитета. Был дружен со всеми нашими знаменитыми чемпионами – с Медведем, с Ярыгиным, с Карелиным... Потом занимал какую-то большую должность в министерстве физкультуры и спорта в Улан– Удэ, после чего получил назначение вице-консулом в соседнюю Монголию, в Эрдэнэт. Он был веселый, очень общительный человек, писал стихи, которые публиковались в бурятских издательствах, и выпустил книгу мемуаров с пышным названием «Пьедестал жизни» о своей спортивной карьере и встречах со знаменитыми людьми, с которыми сводила судьба. На консульских приемах всегда исполнял роль тамады. Высокий, краснощекий, широкоплечий, но уже несколько обрюзгший по возрасту, он чувствовал себя в своей стихии, когда от него требовалось вести вечер, произносить тосты, зачитывать адреса с поздравлениями... Все эти качества, наверное, как нельзя лучше соответствовали занимаемой им должности, к тому же он прекрасно знал монгольский язык, имеющий общие корни с бурятским. С Мажуевым я познакомился вскоре после своего приезда в Монголию, он привел в медсанчасть свою жену, у которой был карбункул молочной железы. Я ее оперировал, чем заслужил благодарность и уважение вице-консула, не раз высказываемое мне в последствии. После операции он занес мне в кабинет традиционную бутылку виски и свою книгу с автографом.

... На этот раз не я извещал консульство о смерти нашего сотрудника, как было предусмотрено инструкцией, а наоборот – консульство, располагая информацией о происшедшем, получив ее по своим каналам, сообщило мне. Но первой меня известила о трагедии директор нашей российской, школы, где Ширкин преподавал труд и вел кружок автодела для мальчиков-старшеклассников, для чего в его распоряжении находилась подержанная «хендайка». Жена Ширкина – Марина работала в гендирекции, в бухгалтерии командировочного отдела. Она возвращалась из отпуска и Ширкин поехал ее встречать в аэропорт, в Уланбатор. На обратном пути, в сорока километрах за Дарханом, машину вынесло в кювет. Марина погибла не то сразу на месте, не то в больнице Хутула, куда ее отвезла монгольская «скорая».

Ширкина в тот же вечер привезли к нам, серьезных повреждений у него не обнаружили – только ссадины на лице, ну, и конечно, психологический шок. Накачали седативными и уложили спать.

Вечером мне позвонил Мажуев, сказал, что судебно-медицинское вскрытие будет проведено в Хутуле, в местной больнице, куда нам надлежало прибыть к одиннадцати часам. Комбинат выделил машину – обычный микроавтобус УАЗ; я не хотел задействовать для этого свою «скорую», не оставляя же наших людей на это время без скорой помощи. С собой решил взять ЛОР-врача Пахабова, давно работавшего в Монголии и знавшего лучше меня детали оформления необходимой в таких случаях документации.

Утром, перед отъездом, я зашел в палату, куда накануне поместили Ширкина. Я не был с ним близко знаком, просто знал его в лицо, пару раз встречая в школе, куда приходил в составе комиссии, проверявшей готовность школы к новому учебному году. Мужчина среднего роста, хрупкого телосложения, приветливый взгляд – ничем не запоминающаяся внешность. Он сидел на застеленной койке, одетый в свой костюм, и смотрел в окно ничего не подмечаю-

щим взглядом. Увидев меня, резко поднялся, в какой-то нерешительности подошел ближе, и с намернувшимися слезами неловко и осторожно обнял, как будто я был его давним, преданным другом, единственным, кто мог его сейчас утешить. Не желая обидеть его своим недостаточно проявленным состраданием, но понимая, что меня уже ждут в машине, и опасаясь, что затянувшееся слезное молчание

может перерасти в истерику, я осторожно отстранил его от себя и спросил, как же все произошло? Он взял себя в руки и, кратко всхлипывая, стал рассказывать...

– И скорость-то была небольшой, я всю дорогу держал не больше ста. Марина сидела сзади... Рассказывала мне о детях, спрашивала, какие новости в Эрдэнэте... Знаете, она всегда везла с собой подарки, когда возвращалась из отпуска, и в этот раз тоже. И она стала показывать мне подарки, доставая их из куляка, хотела, чтоб я посмотрел и высказал свое мнение. Я обернулся... и в этот момент машину бросило в сторону... Нас перевернуло. А Марину выбросило через открывшуюся дверцу. Когда очнулся, увидел ее, придавленную крышей... Сзади сидела, непристегнутая...

– Кто вызвал скорую?

– За нами ехала Тойота, с монголами. Они все видели. Помогли вытащить Марину из-под машины и отвезли нас в Хутул, в больницу. «Скорой» не было. Мобильник там не брал, это сорок километров от Дархана.

– Она была жива?

– Да.. Но в больнице сразу сказали, что она уже умерла... Вы сейчас за ней поедете?

... Хутул расположен в ста сорока километрах от Эрдэнэта по дороге на Дархан. Небольшой населенный пункт – десятка два четырехэтажных домов и завод по производству стройматериалов. По этой дороге был еще один поселок, у моста через Орхон, но тот был еще меньше. Вид уродливых, никак не гармонирующих с окружающей природой, заброшенных богом селений, «городского типа» всегда вызывал во мне жалость и тоску, будь то в России или в Монголии, но здесь особенно. Их главной приметой была именно заброшенность, быстро иссякший пафос их возникновения. Лучше жить в избах или юртах, ей богу, красивее. В «уазике» барахла пачка, но нас спасали наши теплые куртки. Водитель – монгол обещал исправить отопление, как приедем на место. Сергей Николаевич вообще был в дубленке и в меховой шапке с козырьком. В пути он сокрушался по поводу бренности нашей жизни, вспоминая нелепые смерти некоторых своих товарищей, которым бы еще жить да жить. Наша задача состояла еще и в том, чтоб после вскрытия забрать тело и отвезти в Эрдэнэт, в морг монгольской городской больницы, где комбинатом будут организованы все мероприятия, связанные с похоронами.

Накануне ночью шел снег, но шоссе оставалось чистым и даже на перевале не возникло никаких проблем с гололедом или заносами. Каждый из нас десятки раз проезжал этой дорогой в Уланбатор, и привычный пейзаж за окном – заснеженная, пустая, словно продавленная, степь с голыми и унылыми холмами на горизонте, не мог отвлечь от невеселых мыслей. Я думал о том, что найти свою смерть на чужбине, за тысячи километров от родного дома, наверное, вдвойне ужасней. Как у Пушкина: «И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлеть, но ближе к милому пределу...» или как там? Да, нет, похоронят-то ее дома. На СРЗ изготовят цинковый гроб, монгольский таможенник проверит нет ли посторонних вложений, гроб запаяют и... самолетом до дома. Они живут где-то на Северном Кавказе, в Нальчике что-ли.. Смерть на чужбине страшна сознанием того, что на родине такого бы не случилось. Не случилось бы и все. Скорее всего не случилось бы. Чужбина становится главной виновницей и главным обвиняемым. Несчастный Ширкин, он тоже будет думать об этом.

Подъезжая к Хутулу, Мажуев сообщил, что сначала придется проехать в полицейский участок, так как медэксперт прибудет туда. Ведь от полиции тоже кто-то должен присутствовать на вскрытии. Оттуда уже все вместе поедет в больницу. Шофер знал, где полиция, и, свер-

нув у бетонной стелы с надписью «Хотоол», не плутая, подвез нас к довольно опрятному одноэтажному строению с выложенным цветной плиткой фасадом и решетками на окнах. Мажуев зашел вовнутрь, а мы с Пахабовым остались ждать на улице. Ждать пришлось недолго, Мажуев вскоре вышел и сообщил, что эксперт даже еще не выезжал из Дархана, и ожидать его следует не раньше, чем через два часа.

– Обычная история... Типичная для монгол. Вечно опаздывают, никогда во время не придут... и не считают это зазорным.

– Да, пунктуальность не их национальная черта.

– И куда нам сейчас деваться? – задал законный вопрос Пахабов. – Два часа в машине торчать тоскливо.

Пахабов ни на что не намекал.

– Что ж, есть время перекусить. – Мажуев как-будто даже повеселел. Вынужденная задержка не слишком огорчала его. – На выезде есть кафе. Как, не против?

Других вариантов убить время в этой дыре не просматривалось. Мы залезли в «уазик» и поехали обратно из города. На шоссе развернулись и остановились возле придорожного кафе, недавно появившегося здесь. Чистенький, белый домик на высоком фундаменте, с крыльцом под навесом и красной пластиковой крышей под черепицу. Рядом никаких строений, степь и шоссе. Внутри тоже все чисто, простенький интерьер, оформленный с желанием придать уют деталями в стиле монгольского кича. Мы были единственными посетителями. Разместились за столом, накрытым цветастой клеенкой, повесив свою верхнюю одежду на спинки стульев. Сразу подошел хозяин. Меню традиционное: – бозы и хушуры (монгольские чебуреки). Мы заказали и то, и другое, и бутылку «Черного Чингиза». Дорогие сорта водки в Монголии весьма неплохие, производятся из высококачественного китайского спирта. У хозяина имелся и «Золотой Чингиз», но он хоть и дороже, но ничем не лучше.

– Помянем Марину? – предложил Мажуев первый тост. Молча выпили.

– Вы ее знали? – спросил Пахабов, приступая к закуске.

– Конечно. Я всех знаю, должность такая. Она обращалась ко мне, когда понадобилось выправить приглашение для их сына. Сын уже взрослый, в институте учится. На каникулы приезжал в прошлом году. Да... хорошая была женщина, не скандальная.

«Верно, тихая была женщина» – я вспомнил, как приносил к ней свои авансовые отчеты по командировкам, в комнату на третьем этаже гендирекции. У нас многие, да практически все, мухлевали с этими отчетами – покупали в отелях пустые бланки с печатями и сами их заполняли, проставляя себе лишние дни проживания и завышенную плату за номер. Все об этом знали, и это считалось, чуть ли не нормой. Потом и я не брезговал таким дополнительным заработком, но «по первости» стеснялся и приносил Марине честные отчеты, где всегда указывал оставшиеся неизрасходованными деньги. Помню, как она приняла мой первый отчет, и, сидя за столом, за барьером, вздела на меня недоумевающий взгляд. Казалось, что еще немного и она, отругав меня, начнет обучать меня, неразумного, как следует «правильно» оформлять этот финансовый документ. У нее было приятное, простое лицо зрелой женщины, бывшее когда-то красивым, но преждевременно состарившееся из-за обычных забот русской бабы. Но так ничего мне и не сказав поучительного, она направила меня по другим кабинетам, собирать подписи за неиспользованный аванс. В последствие, когда я уже перестал быть «белой вороной», она принимала от меня бумаги, удовлетворенно кивнув головой, видя, что в отчете все сходится, как надо.

Наш стол стоял у окна, и через тюлевую занавеску ярко светило солнце. Уже становилось немного жарко сидеть в свитерах, а тут еще водка, горячие бозы... Думать о предстоящем никому не хотелось, эти мысли ушли куда-то, уступив место ощущению сиюминутного уюта за столом, встав из-за которого, казалось, мы нахлобучим на себя свои куртки и шапки, и навеселе отправимся домой.

Мажуев расспрашивал Пахабова о недавней рыбалке. Тот в прошлое воскресенье ездил на Орхон в компании ребят с обогатительной фабрики. Орхон промерз до дна, только в двух лунках добурились до воды. Но наловили, и щук, и линьков.

– А наши все больше по охоте, – говорил Мажуев о консульских работниках, – Скоро на волков поедет, монголы приглашают. Консулу винтовку с оптическим прицелом подарили, чешскую, надо опробовать.

– Нет, я хоть и сибиряк, из Красноярска, но не любитель охоты. Рыбалка другое дело. А убивать живую тварь ради развлечения... нет, это не по мне.

– Ну, да – ты же врач, гуманная профессия. – Мажуев перешел на «ты», обращаясь к Пахабову и, разливая остатки из бутылки, продолжил, – Охота на зверя, это, как схватка, понимаешь? Как на ковре. Или ты повалишь, или он тебя. Адреналин.

– Зачем вам адреналин, Сергей Николаевич? – решил встрять в разговор и я. – Судя по румянцу на вашем лице, вы – гипертоник. Вам лучше бы избегать стрессов, поменьше бы этих самых гормонов коры надпочечников.

– Так-то оно так, но с другой стороны – если отказывать себе во всем, то зачем жить?

Время шло, но как-то медленно. Вынужденное сиденье за столом начинало утомлять. Подошел хозяин заведения, спросил, не надо ли чего-нибудь еще?

– Еще по 150? Как? – обвел нас глазами Мажуев.

– Нет, не стоит. Еще дело не сделано.

– Тогда чаю. И счет принеси.

– Вообще-то чай вредно после водки – развозит. Лучше кофе. У меня друг был – грузин, в классике боролся, так он никогда после алкоголя чай не пил, только кофе.

Хозяин принес кипяток, сахар и три пакетика чая. Мы стали макать пакетики в чашки, напоминая, навеянные рассказом Пахабова о подледном лове, образы рыбаков перед лунками, дергающих наживку. Мажуев заученным движением намотал за нитку свой пакетик на черенок от чайной ложки, выдавливая из него последние капли заварки.

Когда хозяин принес счет, и я полез в карман за бумажником, Мажуев остановил меня запрещающим жестом –

– Консульство платит.

Скорее всего, он специально сослался на консульство, чтоб нам не было неудобно, что платит лично он. Ну, ладно... У них там зарплаты немаленькие, побольше, чем у нас.

Монгольский судмедэксперт прибыл в Хутул еще через полчаса после вновь назначенного срока. Она – а это была женщина, очень миловидная, миниатюрная, с детским, но официально – строгим лицом, поздоровавшись с нами, прошла в кабинет к начальнику полиции, где провела еще минут двадцать. Вышла в сопровождении офицера в темно-синей униформе, с никелированными звездами на серых погонах. Теперь все были в сборе, можно ехать в больницу.

Ее вид не то, чтоб разочаровал, – другого мы и не ждали, странно, что вообще в таком маленьком городке была своя больница, но все же ... Старое, двухэтажное здание, блеклое до отвращения; к тому же на втором этаже, куда нас провели, шел ремонт. Я стал сомневаться, больница ли это?. Пока мы шли по коридору первого этажа, мы не повстречали ни больных, ни врачей. А здесь, на втором, был затеян капитальный ремонт. Он еще не начинался, но подготовка к нему была завершена. Все было страшно раскурочено, со стен содраны обои, полы завалены мусором, обвалившейся штукатуркой, снятой сантехникой.. В большинстве комнат или палат отсутствовали двери, выдраны оконные рамы. Нас провели в комнату, ничем не отличавшуюся от остальных по степени разрухи, только у стены стоял заляпанный краской, старый медицинский топчан, на котором лежал голый труп женщины. Вид чистого, мертвого тела был настолько несовместим с безобразным фоном строительных руин, что его присут-

ствие здесь могло быть объяснено только одним – женщину убили именно тут, на этом самом месте и еще не успели вынести. Хотя все было как раз наоборот – тело принесли сюда после смерти, предварительно сняв с него одежды.

Еще по дороге в Хутул меня посещали сомнения относительно наличия морга в поселковой больнице. Для таких больниц это непозволительная роскошь – иметь свою патологоанатомическую службу. Это не предусмотрено штатным расписанием. Но, может, в Монголии иначе – черт его знает, думал я. Теперь же со всей очевидностью стало ясно, что медэксперт собирается проводить вскрытие тела именно здесь, в этой комнате, даже отдаленно не приспособленной под прозекторскую, где нет даже водопровода, не говоря уже о мраморном столе и подставке для органокомплекса. Электропроводка тоже была содрана. Не было даже вешалки, куда можно было повесить верхнюю одежду. Свои куртки мы свалили на железную койку, выставленную в коридор. Я посмотрел на Пахабова, он разделял мое недоумение, но что он мог сказать, пожал плечами. Мажуев, как лицо далекое от медицины, видимо, считал себя не в праве вмешиваться в действия профессионалов. Монголка облачилась в мятый, белый халат с тесемками на спине, которые я помог ей завязать, и натянула на свои маленькие ручки хирургические перчатки. Сверху надела клеенчатый фартук. Обычно врачу-патологоанатому помогает специально обученный санитар, который выполняет собственно само вскрытие – двумя разрезами, всей тяжестью рук наваливаясь на ампутирующий нож, вскрывает грудную клетку, треугольником вырезая по хрящам ребер грудину, затем вскрывает живот и после того, как пересечет сверху глотку и снизу прямую кишку, выдирает весь органокомплекс одним блоком из тела. Вынутые внутренности кладут на специальную, отдельную подставку. После этого начинается работа патанатома.. Пока врач, вооружившись пинцетом и ножницами скрупулезно исследует орган за органом, санитар уже зашивает разрез на трупе, большой иглой, крупными, размашистыми стежками. Но у монголки не было помощника и всю «черную» работу она должна была проделать сама. На вид ей было не больше тридцати лет, во всем ее облике просматривалась какая-то решительность, какое-то упрямое стремление выполнить свои профессиональные обязанности прилежно и точно, как у школьной отличницы. Она была здесь главным действующим лицом, представителем закона и государства Монголии. И ничто не могло ее смутить и остановить. Пахабов достал блокнот и приготовился записывать данные, получаемые при вскрытии, чтоб потом составить протокол на русском языке. Сначала рост, питание, характер трупных пятен, видимые повреждения на теле ... ну, и так далее.

Я смотрел на мертвое тело знакомой мне женщины, моей соотечественницы, и думал о чудовищном безразличии всех и каждого, всего мира, к тому, что сейчас происходит в этой комнате. Я представлял себе, что сейчас кто-то из космоса наблюдает, как где-то на Земле, в занесенной снегом, безлюдной степи стоит немыслимо отдаленный от привычных центров цивилизации полуразвалившийся дом, где на втором этаже среди завалов строительного мусора, в крохотной комнатке с ободранными стенами и заляпанным белилами полом, начинается то, что иначе, как глумление над человеком, над его душой, не назвать. Все равно, что отпевать в вокзальном общественном туалете. Я сотни раз присутствовал на вскрытиях, как врач сознавая необходимость научного исследования причин смерти. На сейчас, в данном конкретном случае, я не понимал и не принимал этой необходимости. Кому это нужно? Если общество не в состоянии обеспечить охрану человеческого достоинства после смерти, то оно не в праве настаивать на соблюдении своих законов. Ну, нельзя же так, ребята.. Вот так, на кушетке, в пыли и грязи ремонта.. Мажуев молчал. Ему, видимо, не приходило в голову, что он обязан был потребовать от монгольской стороны соблюдения прав гражданки России, потребовать проведения вскрытия в нормальном морге, хотя бы в Эрдэнэте, где в прозекторской городской больницы (тоже, конечно, не храм), но хоть стены в кафеле и есть вода. В должностных инструкциях вице-консула это, наверное, не прописано. Да и прописаны ли вообще где-нибудь эти права?

А пошло все ... Мы – единственные свидетели того, что сейчас происходит на наших глазах, и никому нет дела до наших переживаний. Потерпите уж.. Никто не узнает об этом. Все будут знать, что в рамках закона состоялось судебно-медицинское исследование, которое установило причину смерти пострадавшей, и официальная справка будет фигурировать в суде. Остальное – блажь. Единственные ли? А, если бессмертная душа все-таки существует и сейчас с содроганием взирает на происходящее? Могла ли она при жизни представить, что ее телом распорядятся таким образом? Христиане, буддисты ...

Кровь была в обеих полостях: и в животе, и в грудной клетке. Монголка не стала вычерпывать ее до конца, мерной посуды все равно не было, и объем кровопотери оценила на глаз. Откуда-то притащили обеденный столик, застелили клеенкой и вывалили на него органокомплекс. Нечем было смыть сгустки и монголке приходилось отделять их руками. Несложно было предположить, что мы имеем дело с разрывом селезенки – самая частая причина кровотечения при тупой травме живота. Так оно и было – в нижнем полюсе селезенки рваная рана. Других повреждений органов брюшной полости найдено не было. Как положено, монголка аккуратно вырезала кусочки органов для будущей биопсии, складывая их в баночку. В целом все ее действия были правильными, профессиональными, но уж больно медленно она все делала. Наши справились бы с этим за двадцать минут, а тут прошел уже час. Монгольский полицейский сделал несколько снимков в процессе вскрытия, вспышка фотоаппарата работала исправно. Я закурил, позволяя себе стряхивать пепел на замусоренный пол. Легкие тоже оказались целы, и монголка недоумевала, откуда же в плевральной полости кровь? Пришлось указать на незамеченные ею переломы ребер – кровили межреберные артерии. Черепную коробку вскрывать не стали, все и так ясно. Диагноз сформулировали вместе: Тупая травма грудной клетки и живота. Множественные переломы ребер слева. Гемоторакс. Разрыв селезенки. Острая кровопотеря. Геморрагический шок III. Зашивать монголке тоже пришлось самой. Когда я помогал ей снять халат, то увидел насколько она вспотела, проводя вскрытие. Ее симпатичное лицо уже не было таким напряженным, как в начале, и она приветливо улыбнулась мне, когда я подавал ей пальто. Мне стало жалко ее, жалко, как женщину, на которую взвалили такую тяжелую работу, и она старалась выполнить ее, как можно лучше.

Пахабов сходил к «уазику» за носилками, предусмотрительно захваченными нами из Эрдэнэта, какой-то больничный служака появившийся вместе с ним, помог завернуть труп в простыню и отнести в машину. Договорившись с монголкой, что завтра к ней в Дархан, в бюро судмедэкспертизы подъедет Пахабов. Он привезет русский вариант протокола, возьмет все подписи, проставит печати и заберет от них монгольские акты, мы простились.

На улице начинало темнеть, и повалил снег. Остановившись у магазинчика с вывеской «хунсний делгур», что означает «продуктовый», в дословном переводе «магазин для людей», мы купили две бутылки водки и чем закусить. На этот раз платил я. Не откладывая дело в долгий ящик, первую бутылку откупорили, как только выехали на шоссе и взяли курс на Эрдэнэт. Первой стопкой опять помянули Марину. Теперь, находясь в тесном соседстве с ее телом, лежащем в саване на полу автобуса, мы произнесли этот тост более ответственно и осторожно, словно опасаясь, вправе ли мы пить за нее, не спросив у нее разрешения. Сегодня мы и так слишком вольно не считались с ее мнением...

– Можно было ее спасти? – спросил меня Пахабов, как хирурга.

Я пожал плечами. – В Монголии нет. В России, пожалуй, тоже нет. А вот в Германии, скорее всего, да. Там на авариях на автобане вылетают вертолеты, и пострадавший меньше, чем за час, уже в операционной. Не повезло еще и то, что зима, мороз. В холод шок течет тяжелее. Микроциркуляция при низкой температуре и так снижена, а тут еще шоковые сосудистые нарушения...

Мажуев внимательно вслушивался в наш медицинский разговор, будто хотел извлечь из него какую-то пользу для себя в будущем. Лицо его было печальным и уставшим, вздыхая он разливал водку. Конечно, он тоже переживал смерть Марины. Но я хотел знать, был ли он, много повидавший на своем веку, пожилой человек, оскорблен увиденным сегодня? Останется ли у него в памяти сегодняшний день, как самое мощное свидетельство беззащитного сиротства рядовой, обыкновенной, человеческой жизни? Или все это укладывается в понятие нашей житейской «нормы», к которой нас приучили, как к неизбежности?

– Теперь Ширкина надо спасать. – сказал Мажуев, доставая вторую бутылку. – Его могут обвинить в убийстве своей жены. Пусть неумышленно, но все же. По монгольским законам ему грозит тюремный срок. Его надо срочно отправлять домой, пока не расчухались. Вы сможете дать ему справку, что по состоянию здоровья ему необходимо срочное лечение в России?

– Это мы сделаем. Как срочно?

– В ближайшие два, три дня. Позже могут возникнуть проблемы при пересечении границы.

– Это получается раньше, чем успеют отправить гроб..

– Ну, что делать... Не садиться же ему из-за этого в «черную юрту».

Шофер так и не починил «печку», и в салоне автобуса было ощутимо холодно. Не помогала и водка – не согревала и не пьянила, и пить дальше не хотелось. Но постепенно приходило успокоение, что все осталось позади А, собственно, что произошло? В настоящем уже нет Хутула, есть «уазик» с тремя пассажирами, шофером, и мертвецом, завернутым в белое, на полу и снег, атакующий лучи фар и пропадающий в темноте. И этого достаточно, чтоб не обижаться на жизнь. Тем более, что через три месяца у тебя кончается контракт, вернешься в Питер... и гори оно все огнем.

Был уже поздний вечер, когда они въезжали в Эрдэнэт. Корпуса городской больницы, расположенной в первом микрорайоне, на отшибе, были погружены во тьму, как и весь город. Дверь в морг оказалась заперта. Опытный Пахабов предположил, что ключ находится у дежурного персонала приемного покоя, и вместе с шофером уехал на поиски. Погода к ночи испортилась совсем, дул ледяной, пронизывающий ветер. Они, с Мажуевым, ждали возвращения Пахабова на крыльце морга, и, укрывая воротниками лица от колючего ветра, мечтали, чтоб сегодняшний день, наконец, закончился. Вернулся Пахабов с ключами, вдвоем с шофером они вынули труп из машины и, сгибаясь под тяжестью ноши, занесли в прозекторскую, где на цементном полу лежало несколько трупов монгол. Мажуев светил фонариком, выключателя они не нашли.

Потом довели до консульства Мажуева. Потом шофер довез их до дома, они отдали ему бутылку водки.

– Извини, но тебе придется съездить завтра в Дархан. – сказал я Пахабову. – Забрать акт экспертизы.

– Да какой разговор, конечно.

Пахабов всегда был готов выполнять поручения, напрямую не связанные с обязанностями ЛОР-врача.

2.

Он вспомнил сказку – «Старый дом» из-за пословицы «Позолота вся сотрется, свиная кожа остается». Фраза случайно, как ему казалось, всплыла в памяти, но со временем он все чаще обращался к ней. Приближалась старость – недавно ему исполнилось шестьдесят, и он понимал, что нечего обманывать себя и уподобляться оптимистичным идиотам, считающим этот возраст «расцветом творческих сил, приходом зрелости...» и т.д. Старость, так старость..

Впрочем, хоть она и не за горами, но до нее еще надо было дожить. С его стенокардией это представлялось вовсе не окончательно решенным делом.

Он давно замечал, что большинство худощавых мужчин, особенно интеллигентных, в глубокой старости становятся похожими друг на друга, как близнецы. Это сходство придавал им взгляд, совершенно одинаковый для всех. Особенность старческих лиц состоит в том, что самой выразительной и хорошо сохранившейся деталью лица становятся глаза, они приобретают даже какую-то дополнительную живость и яркость. И этот контраст между горящей молодостью глаз и свисающим с костей лицевого черепа сморщенным пергаментом встречается у всех. Глаза, к тому же, еще и все понимают, и поэтому взгляд старика делается всепрощающим и одновременно потерявшим способность к сопротивлению. Взгляд и улыбка.

Но главная общность, по его мнению, прослеживается как раз в том, что старики – это люди «со стертой позолотой». Все, что в течение жизни откладывало свой отпечаток на личность – профессия, карьера, творчество, жизненный опыт... то есть вся позолота ближе к концу стирается, и остается только некая сущность человека, заложенная при рождении в каждого, которая только в тщедушной старости становится заметной и видимой со всех сторон. Свиная кожа...

Ему настолько понравилось почему-то вспомненное изречение, что он не поленился отыскать в книжном шкафу у внучки потрепанный том Андерсена и перечитал «Старый дом». Забытый сюжет, через много лет заново оживая при прочтении, не вызвал никакого интереса. И не могло быть иначе, конечно. Банальные мысли о неизбежных потерях и глубоком одиночестве старости, о людском равнодушии к чужой прожитой жизни, вероятно, могли бы оставить свой след в воображении чувственного подростка и дать пищу для размышлений, впрочем далеко не у каждого ребенка, но рассчитывать на отклик в душе современного взрослого человека было бы наивным предположить. Это вовсе не означало, что все сказки Андерсена безнадежно устарели и лишились для него своего прежнего обаяния и философского подтекста, на которые он мог бы опереться. Из всех сказок больше других всегда нравился «Гадкий утенок», нравился своей идеей торжества справедливости божьего промысла. Как это здорово – когда кто-то расставит все точки над «и», и было, что властвовало над тобой, останется в итоге с носом. Вторым шедевром он считал сказку о принце, который захотел предстать перед своей возлюбленной в обличье свинопаса, после того как она отвергла его любовь и простые подарки. «Ах, мой милый Августин...». Странно, но те женщины, которые не отвечали на его любовь взаимностью, потом сожалели об этом и считали свой разрыв с ним самой большой своей ошибкой...

Он задал себе вопрос, а в чем собственно состоит его «свиная кожа»? И из чего она вообще может или должна состоять? Поразмыслив, он пришел к выводу, что это понятие не должно включать в себя ничего, что было бы связано с каким-то действием, поступком или с готовностью и умением совершить поступок. Все это относилось к «позолоте». Родившись на свет, человек еще долго будет не в состоянии совершать поступки, но его «свиная кожа» уже будет на нем, начиная с первого крика. Но определив для себя лишь исключение из правила, он затруднялся с определением самого правила. Все больше он склонялся к мысли, что суть «свиной кожи» состоит в совершенно индивидуальной способности каждого воспринимать мир.

Пока же он твердо знал, что за свиную кожу платить ему никто не будет. Как не платили за нее всю жизнь. Никому и никогда. Свиная кожа не может выступать товаром, ее нельзя продать, как почку для трансплантации. Вот, где проявилась бы абсолютная несовместимость донора и реципиента. Так что – единственным источником денег для него остается пенсия. Те несколько тысяч долларов, что он скопил, работая в последние годы за границей вплоть до выхода на пенсию, растают быстро, и он это прекрасно понимал. Какими бы значительными не были накопления, их не удержать на приемлемом уровне сальдо. Нужны новые поступления, все время, постоянно. Раньше он провозглашал, что мужчина должен работать до глубокой старости, в

идеале – до самой смерти. Именно так поступили и его отец, и оба тестя. Первые два проработали почти до восьмидесяти лет, а Б.П. умер не дожив до пенсионного возраста. Отцу, когда он вышел в отставку, было пятьдесят. Военная пенсия полковника, участника войны, позволяла жить безбедно, но сидеть в таком возрасте без дела отец не мог. Он устроился инженером в свой родной штаб Ленинградского военного округа, что на Дворцовой, и проработал там без малого еще тридцать лет. Семья жила тогда в Веселом поселке, на правом берегу Невы, и до работы отцу приходилось добираться на общественном транспорте, с пересадками, наравне со всеми штурмуя переполненные вагоны метро и салоны троллейбусов в часы пик, что с годами становилось все тяжелей и тяжелей, особенно, когда стал прогрессировать его паркинсонизм, и начали отказывать ноги, не говоря уже о постоянной трясучке правой руки. Но он упрямо продолжал работать, и нельзя сказать, что его терпели на работе и не выгоняли из-за прошлых заслуг. Очевидно, его огромный опыт, налаженные связи и доскональное знание дела, оставались востребованными долгое время. И начальство закрывало глаза на его возраст и физическую немощь. Конечно, он работал и ради денег тоже, и даже ради «заказов» – дефицитных продуктов, которые по существующей льготе распределялись среди офицеров штаба. И, вообще, кажется не было дня, чтоб возвращаясь с работы, папа не приносил с собой авоську с продуктами, купленными или по своей инициативе, или , выполняя мамины поручения, чего прежде, до выхода в отставку, никогда не делал. Равно, как никогда лично не занимался домашними, хозяйственными делами и любую сумку в руках офицера считал позором. Все это давало основание маме с полным правом говорить, что «мужика в доме нет, гвоздь забить некому». Несколько раз отец назначал ему встречу у одного из подъездов штаба, чаще всего у «третьего», выходящего на Дворцовую площадь, чтоб передать какой-нибудь «заказ», предназначенный уже для его собственной семьи, для любимой невестки, и однажды, всего только раз, он встретил отца после работы, чтоб просто вместе пройтись пешком до метро, просто так. По пути они посидели за кружкой пива в каком-то заведении «Старый мельник», прямо на улице, под зеленым тентом, на Конюшенной. Накрапывал дождь. Они сидели за длинным, деревянным столом напротив друг друга и говорили о каких-то пустяках. Они никогда не говорили между собой о чем-то серьезном, глобальном, стесняясь откровенничать друг перед другом, и оба не видели в том необходимости, они все знали друг о друге «по умолчанию». Потому что искренне любили друг друга. И гордились друг другом. И, вообще, они впервые сидели вдвоем в кафе, как вообще редко беседовали «тет а тет». Сейчас, на вскидку, он смог вспомнить только одну такую беседу – это было давным – давно, когда он сообщил о своем решении жениться, на пятом курсе. Они сидели на кухне их старой квартиры. Родители хорошо знали его избранницу, еще по школьным временам, и само решение было для них в принципе ожидаемым. «Ну. И как вы собираетесь жить?» . « Мы оба получаем повышенные стипендии... Вы, наверное, будете нам помогать...» – промямлил он, стараясь не глядеть в глаза отцу. «Хорошо помогать, когда коренной везет» – сказал отец, но уже внутренне смирясь, что помогать придется и по всей видимости долго..

Осенний ветер продувал открытый со все сторон павильон; на отце был темно-серый плащ и кашне в крупную клетку, а головного убора не было. В последние годы он предпочитал носить дешевенький черный берет, который легко можно было запихнуть в карман плаща, но сейчас голова его была не прикрыта, и это придавало ему молодежавый вид. Сам-то он уже давно весь седой. В деда. А у отца волосы до глубокой старости оставались черными и густыми, лишь слегка тронутые сединой на висках. Вообще, он был похож на Жана Марэ. Особенно в профиль. Он не был таким же широкоплечим и широколицым, но тоже высоким и с прямой спиной. Женщины считали его красавцем и на работе у него всегда были добрые, приятельские отношения с сотрудницами, бывшими конечно значительно моложе его, но отдававшими дань его мужской привлекательности. Он вспомнил, как однажды привел отца на консультацию к своим кардиологам, и Регина Ароновна , найдя какие-то изменения на кардиограмме, сна-

чала с озабоченным видом стала говорить о выявленной экстрасистолии, но потом спросила, а сколько твоему отцу лет, и когда услышала, что семьдесят пять, сердито махнула рукой и сказала: «Иди, гуляй. Я думала шестьдесят».

Они пили пиво, возмущаясь совершенно непомерными наценками в такого рода заведениях, и говорили о пустяках. Он глядел на отца, сидевшего напротив, и чувствовал, как тому было приятно сейчас оказаться наедине с взрослым сыном в уличном кафе, и вместе с ним ощутить, что это может быть не только в первый, но и в последний раз. Они оба, как знали... Как знали, пропади оно все пропадом! Он не припомнит такого, совсем незаметного, но ему-то понятного, ласкового взгляда у отца, каким он смотрел на него в тот день, сидя напротив за столом. А еще его глаза были веселыми и радостными. И взгляд словно говорил: «Сын, сын, какой ты молодец, что затащил меня сюда попить пива». Даже крохотный некус, величиной с зернышко, ниже правого глаза не портил его лица, придавая какой-то дополнительный шарм. Они оба знали, что, как всегда, ничего не скажут друг другу такого, что могло бы выдать их взаимную любовь, но в отличие от него, отец знал, что в этой жизни им за все уже заплачено..

И первый тесть – Зосим Александрович, работал до самых преклонных лет. Даже после операции по поводу рака толстой кишки, которую ему делал покойный Ганичкин. Все продолжал ходить в свое конструкторское бюро, которое сам и создал в тридцатых годах. Он стоял у истоков строительства отечественного подводного флота и был весьма почитаемой личностью в своем мире.

Что же случилось? Почему он изменил своим взглядам? При желании он мог бы устроиться каким-нибудь консультантом в страховую медицинскую компанию, или пойти хирургом в поликлинику поблизости от дома, да и для работы в стационаре сил еще хватает.

Но он не хотел возвращаться в медицину. Как отрезало. Он тридцать восемь лет проработал хирургом и в своей профессии достиг всего, о чем мечтал когда-то. Он стал хорошим общим хирургом, владеющим техникой выполнения самых сложных операций прежде всего в области брюшной хирургии. Таким, что не было стыдно перед своими сокурсниками, ставшими профессорами и заведовавшими кафедрами. Ему всегда нравилась именно практическая медицина, лечебная работа, и он никогда не считал науку и преподавание своим призванием, хотя и защитил диссертацию в свое время и двенадцать лет проработал на кафедре, но это было из области насилия над собой. Последние семь лет он проработал за границей, заведя небольшую хирургическую клинику, и это время он считает самым комфортным за всю свою карьеру. Впервые он ни от кого не зависел, над ним не стояло медицинского начальства, от отчетывался только за финансы и был волен управлять клиникой так, как считал нужным. И он был рад, что пусть хоть и на излете карьеры, но ему представилась возможность ощутить себя хозяином своего дела, сообразно своим взглядам, принципам, опыту и своей совести. Окончание срока командировки совпало с его шестидесятилетием, и это не было поводами на пенсию в общепринятом смысле. Просто – кончился срок заграничной командировки, а дальше – по его усмотрению. Но вернувшись домой, он понял, что не хочет возвращаться в медицину. Причин было много. Его пугала набиравшая обороты коммерциализация медицины. Когда пациенту за все предлагалось платить, словно обязательного медицинского страхования вовсе и не существовало. Когда во главе лечебных учреждений, институтов, академий, здравотделов становились люди, главным достоинством которых было умение из всего получать прибыль, это было в духе времени, но не в духе самой медицины. Ему не хотелось идти под начало какого-нибудь менеджера от медицины и участвовать в процессе выколачивания денег из пациентов, зная при этом, как будут распределены доходы, кто получит львиную долю и что от этих доходов перепадет лечащему врачу. Он слишком привык за последние годы к свободе в своей профессии, чтоб снова превратиться в исполнителя. И что нового могло принести ему возвращение? Свои амбиции по части оперативной хирургии он удовлетворил полностью уже давно, а считать себя незаменимым специалистом было глупо; новые, молодые хирурги спра-

вятся не хуже его и не хуже его будут лечить, ставить диагнозы, спасать жизни... Хватит. Вот в Германии – железный закон – подошел возраст, и будь ты хоть семи пядей во лбу, изволь на пенсию. Правда, там существует такая организация, как “Senior servis”, где вышедшим на пенсию специалистам предлагается работа консультантами в развивающихся странах. Его большой друг Кениг – главный врач больницы в Раштатте, выйдя на пенсию, два года проработал в Парагвае, строил там клинику. Кениг показывал ему списки этой организации, кого там только нет – архитекторы, врачи, инженеры, менеджеры, фермеры... Но то – Германия, у нас такого нет и, вряд ли, когда-нибудь будет. Кроме того, он все-таки боялся, что не сможет полноценно работать из-за проблем со своим здоровьем. Его одолевали боли в ногах. Он не мог пройти без отдыха и двухсот метров, был вынужден обязательно присесть, чтоб боли уменьшились; просто остановка облегчения не приносила – обязательно посидеть. Причиной мог быть диабет, облитерирующий атеросклероз. Он курил всю жизнь, ни разу не пытаясь бросить. Да и сердце... два года он на нитратах, на бета-блокаторах, на манинле от диабета, а что толку – сахар все равно ползет вверх. Так что, похоже, он свое уже отработал. Лена уговаривает поехать в Германию на обследование – Андрей сказал, что все расходы возьмет на себя... Но как-то неудобно напрягать своими проблемами шурина, который к тому же моложе его на десять лет.

Но не это было главным в его нежелании возвращаться к делу. Он решил дать себе год передышки, отдыха, живя на сбережения и пенсию, и за это время попытаться... разобраться в себе, понять, что же это такое – его свиная кожа? Как в фигурном катании – есть обязательная программа, есть произвольная, и оценка складывается из двух. Свою обязательную программу в жизни откатал, теперь надо откатать произвольную. Пожалуй, один год он может позволить себе потратить на это.

3.

День для посещения зоопарка они выбрали неудачный, с утра дул холодный ветер, нагнавший туч, так что Верку пришлось впихивать в теплую куртку, которая была ей несколько мала, и запасаться зонтами. Но у Даши этот вторник был единственным на неделе днем, когда она была свободна и от преподавания испанского языка на кафедре романской филологии в Университете, и от частных уроков. Насытив свою жизнь интеллектуальными запросами, его дочь не хотела отказываться и от мирских радостей, что привело к тому, что четыре года назад она родила Верочку от какого-то студента индуса, став матерью-одиночкой. О своей беременности Даша сообщила родителям по телефону, позвонив им в деревню, где они проводили свой летний отпуск. Новость вызвала мгновенный, безоговорочный восторг только у «бабы Нины» – хранительнице домашнего очага, которую пятьдесят лет назад, сиротой, в отроческом возрасте, взяли в свою семью в качестве прислуги Борис Петрович и Мария Иосифовна и у которой на руках выросли и их младший сын – Андрюша, и внучка – Даша, и вот теперь растет правнучка – Вера. Родители же – он и Лена, поставленные перед фактом, разумно смирились со своими, разбитыми в прах патриархальными иллюзиями в отношении замужества дочери и не стали метать гром и молнии, и выгонять из дома заблудшую дочь, готовую принести в подоле дите. Тем более не стали отговаривать Дашу от намерения родить. Все понимали, что, когда ребенок родится, он будет необходим всем им, и безусловно будет любим ими. Смещение таких далеких по расовому признаку кровей обещало появление на свет ребенка здорового, талантливого, с недюжинными способностями.

Верка родилась темнокожей, с черными, как уголь, волосами. Доминантные гены одержали верх над рецессивными носителями наследственных признаков темно-рыжей, белокожей Даши. Первые, самые ранние годы веркиной жизни прошли в его отсутствии, за это время они общались, только когда он приезжал в отпуск или по телефону. Естественно, что сейчас он не мог рассчитывать на веркину привязанность к нему, на ее любовь, но не огорчился. Он

знал, что его время впереди. Сейчас он малоинтересен ей, окруженной мамой, бабушкой, прабабушкой и бабой Ниной, но придет время и он сумеет заслужить ее внимание и вызвать к себе интерес. Чем? Своей свиной кожей, больше нечем. Конечно, он не сможет стать для Верки таким дедом, каким был Борис Петрович для Даши. Тот обожал ее, все свое свободное время уделял ей, устроил домашний кинотеатр, в те времена еще не было видеоманитофонов, и сам крутил мультики на кинопроекторе, привозил из своих зарубежных командировок детскую одежду, игрушки, книги.. И постоянно занимался ее образованием, он хотел, чтоб Даша все время находилась при нем, даже брал ее на свои научные конференции, в Москву, в Одессу. Он очень гордился ей и хвастался своей внучкой перед коллегами. Очень сожалел, что не может взять ее с собой в Швецию, где его лаборатория совместно со шведской Королевской академией разрабатывала проект получения плазмы в магнитном поле, альтернативный «Токамаку». К слову сказать и его дед по маминой линии тоже был помешан на своем внуке. Мама всегда говорила, что только деду могла доверить своего ребенка. Ни бабушка, ни отец такого доверия не внушали ей. Но за собой он не чувствовал никакой такой особой страсти по отношению к своей внучке. Он не заслуживал звания – «сумасшедший дед», свидетельствовавшее о крайней степени заботы и внимания к внукам. Поэтому, чтоб реабилитировать себя в глазах домочадцев, охотно откликнулся на просьбу Даши отвезти их в зоопарк.

Желающих попасть в зоопарк и в будний день было немало, но они приехали рано, почти к открытию, и смогли найти место для парковки возле «Великана». У кассы он повздорил с билетершей, не желавшей признавать в нем пенсионера; она не верила ему на слово и требовала предъявить документ, который он еще не успел оформить. По традиции осмотр начали с белых медведей. Место их содержания не менялось со времен его собственного детства. Только ограждение было иным. Решетку заменили высокими панелями из прозрачного пластика; конечно, это было, и безопасней, и удобней для детей. Теперь отпала необходимость брать ребенка на руки, чтоб он смог что-то увидеть. Говорят, раньше были случаи, когда дети падали за решетку в воду. Да... в остальном все было прежним. Такая же мутная вода, вызывающая отвращение, (и совершенно непонятно, почему нельзя сделать нормальный бассейн с чистой водой), точно такие же медведи с вьевшейся в белый мех желтизной, неприкаянно снующие по голой, каменной площадке, такое же потомство, безрадостно ныряющее в постыльную воду среди плавающих пластиковых бочек, внесенных сюда для оживления морского пейзажа. Интересно, служители зоопарка полагают, что медвежата в Арктике растут, играя с такого рода предметами?

Ряд клеток, предназначенных для хищников, был практически пуст. Оставалось надеяться, что звери в такую прохладную погоду предпочли находиться в помещении. Но и там клетки большей частью пустовали. Одинокий и какой-то уж очень замшелый лев сидел спиной к публике, прижавшись исхудалым хребтом к прутьям решетки в углу клетки. Двадцать пять лет назад в этой же клетке тоже сидел лев. Когда лев разинул пасть, Даша, которую держал на руках, плотнее обхватила его за шею и запричитала : «Папа, давай уйдем из этого зоопарка!». Оказывается прожитую жизнь можно мерить вехами посещений зоосада. Когда-то сам ребенком. Потом с дочкой, теперь вот с внучкой. И до чего же жаль, что ничего не изменилось к лучшему. Обидно. Значит никакого прогресса за прожитую жизнь не произошло. Да какой-там прогресс... В его детские года в зоопарке были слоны! Он помнит, как они степенно расхаживали за ограждением из металлических, острых пирамидок, не позволяющих на них наступать. Был бегемот, носорог, тюлени, несколько семейств львов, тигров. Шимпанзе, жившие в застекленной клетке. Площадка молодняка... Куда все подевалось? Ведь зоопарк это показатель не экономического развития нации, но духовного. Как был зверинцем из рассказов Бианки о царских временах, так зверинцем и остался. Только теперь вместо дикой фауны на обозрение выставляют домашний скот и птицу. Курицу желаете посмотреть или козу? А где-то малышня разгуливает по сказочным Дисней-лендам, по зоопаркам, в которых нет клеток и решеток.

А может это нам претит – содержать в неволе диких животных, вот и нет их в нашем зоопарке... так закройте его совсем. Сколько он себя помнит, на территории зоопарка все время велись какие-то строительные работы, что-то пытаются модернизировать, улучшить.. И ничего не улучшается. Ровным счетом ничего. Правда возвели новый серпентарий. Собственно по всей стране так – улучшаем, улучшаем, модернизируем. Вкладываем деньги... и ничего не улучшается. Что, в твоей медицине иначе? «Мы построим тринадцать кардио-хирургических центров!». Браво! И никто не говорит, что в стране с населением 150 миллионов человек надо иметь не тринадцать, а сто тридцать таких центров. «Наш центр оборудован самой современной аппаратурой!». И никто не афиширует – где произведена эта аппаратура? В России? Как бы не так – в США, в Германии, в Японии, в Швейцарии... «Такая операция, которую мы проводим в нашем центре бесплатно, за границей стоит десятки тысяч долларов». Для кого? И никто не говорит, что за границей даже трансплантация сердца производится бесплатно. Естественно для застрахованных пациентов. Платят только те, у которых нет медицинской страховки, а таких там просто нет, вот если вы приедете, то да, придется платить. Звон, звон, звон. Вся наша медицинская наука держится на достижениях и открытиях, сделанных на Западе. Вся современная фармакология, эндовидеохирургия, коронарная хирургия, сосудистая... А ведь у истоков многих передовых технологий стояли мы. Кто открыл эффект магнитно-ядерного резонанса – советский физик Гинзбург, а томографы покупаем на Западе. Кто впервые стал использовать волоконную оптику – мы в войну, в шифровальных машинах, а эндоскопы покупаем у японцев...

– Помнишь, как я напугалась льва?

– Я уже вспомнил об этом. Тебе было столько же, сколько сейчас Верке. В отличии от тебя она не боится.

– Нет, мне было на год меньше.

– Лев какой-то забитый, заморенный. Тот был страшнее. У меня был клинический ординатор Андрей Анварыч, из Пскова, как потом оказалось – сын моих однокурсников. Он рассказывал, что однажды оперировал укус льва. Страшная рана. Лев цапнул за руку какого-то ротозея в зоопарке, артерию сшивать пришлось.

Снаружи накрапывал дождь. Возле забора несколько рабочих вспарывали асфальт отбойными молотками. Даша предложила спрятаться в серпентарии, там на первом этаже -кафе, где можно купить поп-корн, Верка его любит. Но начали все же с осмотра пресмыкающихся на втором этаже. Вот змеям здесь, наверное, неплохо в своих отдельных квартирках за стеклом. Тепло, чисто, никто не мешает. Для них, наверное, лишение свободы не так важно. Свобода это когда что-то меняется вокруг тебя, а в пустыне хоть сто километров проползи – ничего кроме песка не увидишь, так какая разница там или здесь, в ящике с песком. Как в России. Ну, перестань... В какой-то год родители сняли дачу под Сестрорецком на берегу Разлива. И однажды дед повел все семейство в лес за грибами. В руках у деда всегда была палка, когда он ходил по лесу, большая, суковатая, как дубинка. Он ее использовал, как посох, и рыскал ею по траве, по кустам, ловко выковыривал мелкий гриб из земли. Зашли в лес, впереди дед идет по тропе, и вдруг начинает с криком лупить палкой по траве. Оказалось – гадука, грелась на солнце. Дед перебил ей хребет, и змеиная голова до этого высоко поднятая, осматривая вас напоследок, медленно опустилась на свернутые, пестрые кольца. Прошли еще метров сто, и снова та же картина – дед яростно бьет палкой по траве. Там тоже змея. После этого повернули назад и поспешили выбраться из леса. Не до грибов, когда кругом змеи.

– Вера, запомни – змея никогда не нападает первой на человека и никогда не преследует его, если он уходит от нее или убегает. Она может укусить, только если ты сама наступишь на нее, не разглядев ее в траве. Так что в лесу всегда смотри себе под ноги и будь внимательна.

– Дедушка, а у нас в садике Павлик змею вылепил из пластилина.

– А ты кого можешь вылепить?

- Я могу черепаху и рыбу.
- Молодец.

Странно слышать обращение «дедушка» по отношению к себе. Но он ничего не имеет против. А Борис Петрович, например, терпеть не мог называться дедом, и требовал, чтоб маленькая Даша обращалась к нему : «Боба». И Верка знает, что ее прадедушку звали «Боба».

Вот с чем в зоопарке дело обстояло сравнительно неплохо, так это с детскими аттракционами Карусели нескольких видов, качели, катание верхом на лошадях– были призваны компенсировать скудность фауны, представленной на обозрение. Даша последовательно провела Веру чуть ли не по всем каруселям, и пока он ждал их, сидя на скамейке, он сильно продрог.

Обратно возвращались по набережной Фонтанки. Пересекая Невский он сказал –

– Запоминай Вера, этот мост с лошадьми называется Аничкин. Кстати, Даша, как правильно Аничкин или Аничков?

– Не знаю.

– А мы с мамой точно таких же лошадей видели в Неаполе, перед воротами в какой-то парк с замком, где проживал царевич Алексей.

– Что, тоже творение Клодта?

– Да, абсолютно такие же, только там их не четыре, а две.

– Значит, и еще где-то могут быть.

– Вполне. Казалось бы , – уникальное произведение искусства, а поди ж ты, наделал копий... Все можно копировать, даже «Давида», один стоит в Уффици другой на площади Сеньории, и не отличишь. Одно только невозможно скопировать – свиную кожу.

– Чего, чего?

– Да это я так... мудрствую.

4.

Он действительно мудрствовал, и злился на себя за это. Все его попытки определить в чем же состоит особенность его прошедшей жизни, и существует ли вообще эта особенность, заканчивались неудачей. Он полагал, что особенность не следует путать с индивидуальностью. То, что жизнь каждого индивидуальна, это понятно. Понятно, что каждый человек идет своим жизненным путем, и на этом пути встречается с только ему предназначенными обстоятельствами, людьми, происшествиями и т.д. Но вот , допустим, все смотрят на одно и тоже небо или на картину художника, они же видят разное, и лишь в общих чертах воспринимают это небо и эту картину одинаково, похоже, и никогда не узнать, в чем именно их восприятие, их впечатление от увиденного, услышанного, прочитанного разнится. Бывает, что несколько мужчин влюбляются в одну и ту же женщину, но ведь каждый из них находит в ней что-то свое.

Иными словами его интересовало, в чем состоит сущность индивидуума? Будучи в аспирантуре, готовясь к сдаче кандидатского минимума, он посещал занятия по диалектическому материализму, которые вела преподаватель кафедры их академии – молодая, умная женщина, одевавшаяся вопреки моде в длинные балахоны из темной ткани, призванные подчеркнуть ее независимость в суждениях. Она была влюблена в Маркса, и сумела вызвать в слушателях интерес к его философским взглядам. Действительно, как философ, Маркс представлялся более интересным мыслителем, чем, как экономист. «Тезисы о Фейербахе» – гениальны. Маркс написал их в том же молодом возрасте, в каком Микеланджело ваял «Пьету». «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В действительности она есть совокупность общественных отношений». С этим следует согласиться. Маугли, воспитанный в волчьей стае, не может считаться человеком. Выходит, что в человеке главное все-таки – «позолота», а не «свиная кожа». По отношению к определению сущности человека это утверждение спра-

ведливо, но в чем сущность индивида? Ведь индивидуальность присуща не только человеку, но всему живому, тому же волку, наконец. Это из другой оперы, и общественная жизнь здесь скорее всего ни при чем. Может быть, это вообще не философская категория? Для атеиста это категория анатомо-физиологическая. Просто индивидуальные особенности строения мозга, разное количество нейронов, разная скорость передачи нервного импульса и т.д. Ой ли?

А Маркса у нас постарались поспешно дезавуировать. Особенно последний тезис: “*Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an Sie zu verndern*”. Слово «революция» стало чуть ли не запретным. Услышав его, любой уважающий себя интеллектуал болезненно сморщится и отвернется, как от назойливой мухи: «Что вы, что вы... только эволюционный путь. Никаких революций. Хватит. Уже наелись». И верно – будем эволюционировать, подождем, когда сами собой наступят времена и успешными бизнесменами станут не только жены градоначальников и вице-премьеров правительства, но и обычные граждане; подождем, когда в школах поймут, что их основная задача выпустить из школьных стен нравственного человека, а потом уже, знающего основы точных и естественных наук, а для этого надо прежде всего в корне поменять преподавание литературы, сделав ее главным предметом; подождем, когда в стране престижными окажутся профессии учителя, врача, исследователя, рабочего и фермера и они перестанут завидовать зарплатам телеведущих, шоу-менов, менеджеров по продажам и футболистов; подождем... Спешить некуда. Не мы, так наши внуки... Но ведь революции бывают не только социальными.

Он чувствовал, что все его рассуждения на самом деле банальны и, в общем, убоги. Он просто не хочет расставаться с какими-то эпизодами или иллюзиями своей жизни, которые были важны только для него и которые, как он считал, и составляли ту самую особенность жизни каждого человека, что будет похоронена вместе с ним. В этой жадности сохранения он напоминал себе гоголевского героя, не желавшего расставаться ни с одной копейкой.

Он понимал, что «свиная кожа» каждого абсолютно непознаваема для других, как тайна мироздания. И останется тайной навсегда. Все, что мы можем знать о ком-то, лишь ничтожно малая часть его сути, касающаяся прежде всего «позолоты». Мы ничего не знаем друг о друге, так мы устроены. Закон природы. Эти рукописи сгорают дотла, так никем и не прочитанные.

Понятно, что истоки своей «свиной кожи» следовало искать в детстве, но не вспоминать же все подряд, тем более, что методология поиска по-прежнему была ему не ясна. Он мог вспомнить все, но что толку...

Первая зависть, но еще не ревность, к мужчине, как к объекту женского внимания, возникла у него к герою песни в исполнении Руслановой: «Помню я еще молодухой была. Наша армия в поход далекий шла. Вечерело, я стояла у ворот, а по улице все конница идет» Он хорошо знал это – «вечерело», это было ему знакомо по дачной жизни, когда кончался томительный летний день, прошедший в скучной, одинокой, праздности детства, и он выходил после ужина с молоком за калитку, садился на лавочку и смотрел на Варшавское шоссе, спускавшееся с Лангиной горы. Красный закат сгушался до черноты у самого горизонта, и пыль, что днем поднимали за собой грузовики, заезжая колесами на обочину, лежала вечером спокойно, как отяжелевшая после дождя. Он понимал, что картина вечернего пейзажа перед его глазами, не такая, как должна быть в песне. Там речь скорее всего шла о широком проселочном тракте, по которому ежедневно гнали скот на пастбище, и жаркий воздух постоянно оглашался затыжным, бестолковым мычанием, а заборы хат или изб были из горизонтально сколоченных жердей, а не из вертикальной решетки штaketника, как у них на даче. Но «вечерело» одинаково, в этом он был уверен. Еще едва ощутимая, прохлада наступающих сумерек; даль, где становится недоступной глазу дорога; преждевременное ожидание нового дня – все это было общим в понятии «вечерело». И еще что-то...

«Наша армия...» Русская армия. Уже в детские годы он испытывал громадное уважение к русской, царской армии. Он уже знал, что царская армия существовала прежде Красной. Хотя в том семилетнем или восьмилетнем возрасте, что достоверного он мог знать о ней? Он видел солдат на картинах Верещагина, печатавшихся в журнале «Огонек» – их белые, выгоревшие на солнце, мундиры туркестанского корпуса, и узкие, прямые штыки над дулами винтовок, висевшие за спинами солдат... он видел фильм «Герои Шипки», и помнил фамилию генерала – Скобелев... и, пожалуй, это все, что он знал к тому времени о русской армии, хотя и рос в семье военного и о Красной Армии знал уже много. Еще рассказ деда, когда они гуляли по парку и подошли к памятнику «Стережущему», где бронзовая вода хлестала через открытый иллюминатор, и два матроса, как ему сначала подумалось, пытались закрыть его, но оказалось все наоборот. «Они нарочно открыли, чтоб затопить корабль, они не хотели сдаваться врагу». Но даже этих отрывочных сведений хватило на то, чтоб представить нескончаемую колонну пехоты со скатками шинелей на груди, устоять перед которой не дано никакому врагу. Он ясно представлял себе, как пылят по дороге солдатские сапоги, как устало движется колонна, хотя в песне речь шла о коннице, но кавалерия была ему еще меньше знакома и правдиво представить, как она выглядела, он не мог.

Молодую, рослую крестьянку, черноволосую, с неприбранной головой, жалостным взглядом провожающую шеренги солдатушек-бравых ребяташек, он представлял себе очень хорошо, а вот «парня», что попросил напиться воды, четко вообразить не мог. Да – в первом прослушивании песни он вместо «барин молодой» услышал «парень молодой». Но потом, в третий или пятый раз ставя на бархатистый диск патефона черную, с круглой, красно-золотой эмблемой в центре, пластинку расслышал уже отчетливо: «Всю-то ноченьку мне спать было не в мочь. Раскрасавец барин снился мне всю ночь». И «барин», бывший в песне одновременно и офицером, сильно выигрывал в его воображении по сравнению с каким-то «парнем». Парней и в деревне могло быть предостаточно, и вообще в парнях не было ничего интересного, а вот молодой барин, да еще верхом на коне, мог появиться только вместе с этой чудесной армией, к которой барин принадлежал по обязанности дворянского сословия. Так что это был уже практически принц из сказки. Он радовался, что крестьянка влюбилась именно в барина, что подтверждало его догадку о том, что социальное неравенство между людьми ничего не значит. Этому его учили и сказки, пока не пришло время иных педагогов. Сюжет песни тоже напоминал сказку, только на этот раз в исторически реальном обрамлении. И в генерале, который «весь израненный.. жалобно стонал» было столько общего со сказочными богатырями, тоже израненными, и которым могла помочь только живая вода.

Он – маменькин сынок, испытывал страшную зависть к герою песни, образ которого не давал уснуть молодой, черноокой красавице-крестьянке. И то, что потом молодой барин превратился в седого генерала, раненого в боях, только усиливало эту зависть. Как бы он хотел оказаться на его месте, стать таким же. Одинаково с генералом он мучился в душной, нагретой за день, горнице, с почему-то плотно закрытыми окнами, и даже откинув одеяло, сбив его к стене с толстым слоем дешевых обоев, клееных друг на друга во время ремонтов, что превращало их в толстую, воздухо непроницаемую корку, не мог заснуть от ночной жары. Что такое боль от ран ему тоже было известно. Роясь в песке возле сосны, поранил руку стеклом, десятисантиметровый шрам по краю кисти ниже мизинца остался на всю жизнь. Крови порядочно тогда натекло, хоть распорота была только кожа, и на следующий день дед отвел его в медпункт пионерского лагеря, что находился в глубине леса, у крохотного, черного озера с названием «Свинячье» в паре километров от их дачи; там ему сделали прививку от столбняка. Рану зашивать не стали, просто туго перебинтовали кисть, и несколько дней не велели трогать повязку и не мочить.

Что его понесло в медицину? Почему он решил избрать профессию врача? Сначала он хотел стать военным летчиком. Он собирал любую доступную информацию о самолетах – истребителях и вскоре знал для чего служат элероны, что обозначает число Маха, где расположена трубка Пито и для чего она предназначена... Он воображал себя пилотом палубной авиации, совершавшим ночные полеты над морем в зашнурованном высотном костюме. Но после медкомиссии в десятом классе, когда хирург нашел у него постыдную аномалию развития, о которой он не подозревал до сего времени, он понял, что поступать в военное училище ему не стоит. Потом, какое-то время ему хотелось стать журналистом – международником. Но, чтоб поступить в университет на журфак, надо было иметь три года трудового стажа, сразу со школьной скамьи не брали, и от этой идеи пришлось отказаться. И, слава богу, что не сбылось.. Сейчас он без пиетета относился к этой профессии и полагал, что уровень подготовки журналистов в университетах чудовищно низок. Русского языка не знают, эти постоянные «а-а-а», мычащие паузы перед фразами... об этике, вообще, никакого представления. Яркий пример – в больницу доставили одного из крупных мафиози города, заправлявшего нефтяным бизнесом, на которого было совершено покушение – машину обстреляли из гранатомета на набережной Макарова. Привезли практически мертвого, с оторванными ногами. На следующее утро в кабинет заявился репортер – совсем молодой парень, возбужденный порученным ему заданием от редакции, и попросил представить информацию о состоянии пострадавшего. Больше всего корреспондента интересовало, оторвало ли при взрыве половые органы? Очень удивился, когда его послали, куда подальше со своим любопытством. Долго стоял, не уходил, все еще надеясь на получение сенсационной новости, искренне не понимая, что тут такого? И выражение лица оставалось веселым, нагловатым, как у несправедливо обижаемого обществом садиста.

В последний школьный год, в прессе публиковалось много произведений о работе хирургов. В «Науке и жизни» печаталась книга Амосова «Мысли и сердце» о пересадке сердечных клапанов, в «Юности» – повесть о хирургах, где старый врач вспоминает о временах, когда в операционную приходили люди из госбезопасности и следили за движениями пальцев у оперирующего. «...А он нервничал, делал лишние движения, рвал кетгут» ... По телевизору демонстрировали спектакль, где Дьячков ушивал перфоративную язву на каком-то полустанке, и, выйдя после операции к пассажирам, эффектно отнекивался от славы: «Извините, я плохой популяризатор».. и скромно проходил сквозь возбужденную толпу зевак. Вспоминались и кумиры детства – доктор Сальватор, пересадивший жабры молодой акулы. Хирургия представлялась совершенно особенной специальностью, ни на что не похожей, со своей специфичной терминологией, с какой-то кастовой отчужденностью от обычных бытовых проблем жизни. У Чехова : «Я принял блуждающую почку за абсцесс». Одна эта фраза способна пробудить у молодого человека интерес к всецело загадочной, малоосвещаемой в школе, профессии. Желание помогать страждущим, больным, как главный посыл выбора, стояло не на первом месте. Прежде всего хотелось овладеть совсем непростым, и уважаемым всеми ремеслом., страшно интересной, классической наукой врачевания. Мой школьный приятель Женя Зарембо, (подпольная кличка – Джон) возможно под моим влиянием тоже решил поступать в медицинский. К тому же дальний родственник Джона работал ассистентом на кафедре факультетской хирургии в 1-ЛМИ, да и жена старшего брата заканчивала педиатрический институт. У меня же в родословной медиков в помине не было. Узнав о моем решении, отец уговорил меня поступать в военно-медицинскую академию. Я с ним согласился, учитывая, что вступительные экзамены в академию проходили в июле, на месяц раньше, чем в гражданских вузах, и в случае провала оставался шанс поступления в 1– ЛМИ. Отец съездил в академию, с кем-то из начальства переговорил, и уверенный в успехе со спокойной душой отбыл по месту новой службы в ГДР.

На медкомиссии я спросил у хирурга, осматривавшего меня, могу ли я с этим поступать в гражданский вуз, он успокоил, что и для поступления в военную академию у меня нет противопоказаний.

Экзамены сдавали в Красном Селе, где располагались летние лагеря академии. Сдавали три экзамена : физика, химия, русский язык (письменный). По химии досталась задача, где в сложный раствор отпускались электроды, и надо было определить конечные химические элементы, полученные после прохождения тока. У меня в ответе получались какие-то двухэтажные дроби, и я был уверен, что ошибся, но оказалось, что все правильно, и получил пять. За русский язык (письменный), тоже пять, а за физику четыре, итого – 14 баллов.

После сдачи экзаменов, абитуриенты должны были жить в Красном Селе, в палатках, в ожидании результатов и проходить курс молодого бойца. До сих пор помню, как в палатку просовывалась голова офицера в фуражке, надзиравшего над нами, и выкрикивала : «Рота подъем! На зарядку! Форма – голый торс!» и следом любимое: «Конкурс продолжается», как изувеское предостережение нерадивым. В ожидании приказа мы занимались благоустройством территории, копали траншею вокруг штаба, сажали кусты . Поползли слухи, что проходной балл в этом году будет 15, а с 14-ю примут только в группу ВДВ. Я не стал дожидаться окончательного решения своей судьбы, полагая, что старания отца скорее всего возымеют действие, а это будет несправедливо с моими баллами, забрал свои документы из штаба, экзаменационный лист и , спустившись с холма, сел на электричку. С ребятами жалко было расставаться, со многими успел подружиться, действительно хорошие были ребята.

В приемной комиссии 1-го ЛМИ, куда я отнес свои документы, мне сказали, что придется пересдать только один предмет – физику. Пересдал и снова получил четверку, но набранных четырнадцати баллов хватало, чтоб поступить на лечебный факультет. И все же долго не мог поверить своим глазам, когда отыскал свою фамилию в написанном от руки списке поступивших, вывешенном на втором этаже главного корпуса возле деканатов...

Сейчас при поступлении в медицинский сдают еще и биологию, и это, _наверное, правильно, с химией, в общем, тоже можно согласиться, но причем здесь физика? Не лучше ли включить во вступительные экзамены такой предмет, как «История медицины», ну, пусть не экзамен – собеседование на эту тему, и поинтересоваться у абитуриента, а что он вообще знает о врачах, о Пастере, Кохе, о Пирогове... читал ли он Чехова, Вересаева, Германа.. что его подтолкнуло к мысли поступать в медицинский? Большой, думаю, произошел бы отсев, но необходимый. А так получается , сдал физику – врач, не сдал – привет. Хотя, наивно все это... Не так давно я беседовал с одной из своих медсестер, которая решила поступать в университет, я спрашиваю : почему не в медицинский? – Так у меня нет пяти тысяч долларов, а без этого нечего и соваться. Слухи о повальном взяточничестве при приеме ходили упорные, но я как-то не верил, в наше время ведь такого не было.

На лечебный факультет было принято около четырехсот человек, которых разделили на два потока. Первые лекции были общими для всего курса, их читали в седьмой – самой большой и старой аудитории института. Она располагалась на втором этаже высокого здания, построенного в начале века – скромное, но не лишенное помпезности благодаря мощным прямоугольным колоннам у входа, массивной двери и широкому овальному крыльцу, на ступенях которого уместился весь курс, чтоб сфотографироваться во время традиционного сбора. На трех этажах размещались кафедры нормальной анатомии, биологии, гистологии, судебной медицины, оперативной хирургии и истории медицины. Седьмая аудитория служила также залом, где проходили заседания городского хирургического общества Пирогова, так что и после окончания института мне доводилось приходить сюда, всякий раз вспоминая студенческие годы, когда усаживался на свое прежнее место в десятом ряду сплошного амфитеатра отполированных деревянных ячеек с откидными досками. Здесь все оставалось неизменным

– длинный, черный стол президиума, как поваленный на пол шкаф, кафедра, черная школьная доска на стене и выше экран. Сколько медицинских «светил» повидала эта кафедра! На первом курсе лекции по нормальной анатомии читал профессор Привес – интеллигент старой закалки, седовласый, элегантный, насколько позволяло приличное брюшко, всегда по-праздничному одетый, белая сорочка, цветной галстук-бабочка.. За его учебником в библиотеке шла охота, очередь по записи. Несчастливцам, кому не доставался учебник, приходилось заниматься по атласу – я всегда входил в их число. Все знаменитые хирурги страны стояли за этой кафедрой в разное время. Джанелидзе, Напалков, Куприянов, Углов, Мельников, Колесов... всех не перечислишь. Никого из них уже нет в живых. Заседания хирургического общества Пирогова проходило по средам, раз в две недели. И всегда на них присутствовал старший Напалков. Он был уже практически слеп – высокий, худой, старый человек, передвигавшийся с помощью своих молодых ассистентов, выполнявших роль поводырей. Я никогда не понимал этого фанатизма старых хирургов– классиков, живших только хирургией, не представляющих себя вне этого ремесла и науки. Углов оперировал чуть ли не до ста лет, как Дебейки. Вам хотелось бы лечь под нож к хирургу, которому стукнуло девяносто? Как им самим-то не надоело? На мой взгляд любое занятие, любое творчество, если им заниматься непрерывно на протяжении нескольких десятилетий, должно в конце концов осточертеть. Мир так прекрасен в своем разнообразии, не лучше ли попытаться познать его с другой, новой для вас стороны? Как правило в такой фанатичной преданности своей профессии можно распознать большую долю эгоизма, завышенной самооценки, льстиво подогреваемой бывшими учениками, которым на самом деле давно уже не до вас.

Впрочем, не только профессура выступала в «семерке»... На первом курсе здесь прошел вечер встречи с малоизвестным в то время автором-исполнителем песен Евгением Клячкиным. Невысокого роста человек лет тридцати, крупное лицо с не вполне русскими чертами, зачесанная назад шевелюра обильно тронутая сединой, держался скромно, почти застенчиво. Он спел несколько песен на стихи Анчарова.. Зычный, но мягкий голос старался усилить впечатление от каждой строки. Потом пел свои. Простые тексты легко укладывались в памяти и спустя много лет я могу вспомнить почти целиком и «Тонечку», и «На Театральной», и «Шофера».. Но самое сильное впечатление осталось от «Пилигримов». « И значит не будет толка от веры в себя да в бога. И значит останутся только – иллюзии и дорога». Имя Бродского не было упомянуто, и я вплоть до девяностых годов считал, что стихи написаны Клячкиным. Одного этого достаточно, чтоб возненавидеть советский строй. Анафема всем им, решавшим за меня, что мне следует читать, смотреть, слушать, а чего не следует. Кто дал им право скрывать от меня Бродского? Я мог умереть, так и не узнав его мир. Это хуже воровства!

Первое соприкосновение с профессией должно было состояться с началом практических занятий по нормальной анатомии. В тот день, на лестничной площадке, перед дверьми кафедры собрался весь поток – все в белоснежных, накрахмаленных халатах. Такого парада больше никогда не повторялось. Все возбуждены, оживленно общаются друг с другом, радость, улыбки.. и запрятанное внутри тревожное ожидание, как перед первым боем. Есть профессии, освоение которых невозможно без преодоления специфических страхов: нельзя стать летчиком, если боишься высоты, моряком – если боишься качки, врачом нельзя стать, если страшит «анатомичка». Известны случаи, когда люди бросали институт, так и не сумев преодолеть в себе этот страх или отвращение перед анатомическим театром. В наш век это, наверное, уже не так актуально – морги показывают по телевизору, следя, чтоб все было как можно натуральной. Человека все больше и больше приучают к виду смерти, видимо, исчерпав возможности в отображении вида жизни.

Наконец, двери распахнулись и нас пригласили войти. Мы уже были разделены на группы, и в сопровождении своих преподавателей вошли в секционный зал. В лицо ударил резкий запах формалина. Просторный зал, выложенный белым кафелем, был наполнен, прохо-

дившим через очень высокие окна дневным светом, в тон нашей толпе в белых халатах. Возле окон стояло семь или восемь прозекторских столов, вдоль противоположной стены – ванны, где в формалине лежали мужские и женские трупы, наваленные друг на друга, как после расстрела. Трупы были старые, иссохшие, а потому не страшные, жизнь давно ушла из этих тел, забрав с собою все связанные с ней ассоциации.

Занятий в зале сегодня не планировалось, сегодня была просто ознакомительная экскурсия по кафедре.

Преподавательницей нашей группы стала ассистент кафедры Машкара – невысокая, худощавая женщина пенсионного возраста, работавшая в прошлом в амбулаторном центре хирургии кисти. Большие черные глаза, впалые щеки, спутанные волосы, выбивавшиеся из-под колпака, внешне придавали ей несколько болезненную строгость, она не расставалась с короткой указкой, с помощью которой демонстрировала нам детали анатомического строения человеческого тела. Понимая, что любовь к своему предмету нам в принципе привить очень сложно, но несмотря на это она обязана вложить в наши головы основательные знания той науки, на базе которой будет строиться все дальнейшее медицинское образование, поэтому требовала от нас полного прилежания, без поблажек. Занятия проходили в тесной комнатке, сверху донизу заставленной стеклянными банками с анатомическими препаратами – кунсткамера отдыхает; потемневшие и скукожившиеся от долгого лежания в формалине куски человеческой плоти цветом и еще чем-то напоминали опавшие осенние листья, если издали окинуть общим взглядом полки с банками, не всматриваясь в каждую в отдельности. Какой-то заспиртованный листопад. Изучение анатомии начиналось с костей скелета, потом мышцы, сосуды, строение органов... самым трудным был раздел нервной системы – мозг и периферические нервы.

На черной лестнице, в чердачном помещении, находилась особая кладовая, откуда по студенческим билетам выдавали кости, черепа, иногда естественные, иногда пластмассовые. Берешь, например, бедренную кость и идешь в секционный зал, садишься за мраморный стол, раскрываешь атлас и, сверяясь с картинкой, начинаешь зубрить все бугорки, отростки, борозды, бугристости.. и по – русски, и по латыни. Мало того – ты обязан знать на каком этапе эмбрионального развития появляется данная кость, когда в ней появляются ядра окостенения, как протекает замещение хрящевой ткани... да еще на кафедре гистологии будешь изучать ту же кость, но уже под микроскопом, отгадывая на предметном стекле остеобласты, остеокласты, хрящевые клетки, клетки надкостницы... В общем, и без физики хватает заморочек. Когда приступили к изучению органов, не помню уж на каком семестре, из того же хранилища получали проформалиненные органокомплексы – вырезанные из тела единым блоком от языка до прямой кишки: гортань, трахея, легкие, сердце и вся брюшная полость. На старом студенческом жаргоне такой органокомплекс назывался – «гусак», которого поднимали и несли, обхватив за трахею и пищевод. «Гусака» заказывали только для групповых занятий, не помню, чтоб кто-то брал для себя лично, для индивидуального изучения. На черной лестнице разрешалось курить. Из четырех парней нашей группы курили только я и Джон. Алик Смирнов занимался спортивной гимнастикой и отвергал курение, Юрочка Беляев в детстве рос хилым и болезненным мальчиком, так что он тоже предпочитал держаться подальше от дыма папирос. Из девиц курила только Янка Резникова, будущий офтальмолог. Вместе с нами в группе занимались два негра из Ганы: Асирифи Эдвард Янг и Абан Квези. Квези был сыном богатого вождя, среднее образование получил в Англии, и в Россию его, как и Янга, привела относительно невысокая плата за обучение. Янг происходил из менее благополучной семьи, и был попроще во всех отношениях. Внешне они тоже различались: Асирифи – высокий, мускулистый, Квези – маленький, субтильного телосложения, изящен в движениях, на лице очки в тонкой, золоченой оправе. Он потрясающе танцевал, демонстрируя на наших вечеринках в общаге расовое чувство ритма помноженное на музыкальное образование европейской школы. Был всегда при-

ветлив, проходя мимо меня, смолившего Беломор на черной лестнице, обычно дружелюбно хлопал по плечу, блеснув в улыбке ровным рядом белых, как фарфор, зубов. Белые халаты шли им больше, чем нам.

– Куряем?

– Курим, Абан. Курим.

– Курим, – старательно повторял за мной правильное произношение глагола Абан Квези, но в следующий раз опять употреблял привычное, засевшее в голове – Все куряем?

На первом семестре, на занятиях по анатомии, в группе появилось новое лицо – переведенный к нам из института спортивной медицины им. Лесгафта первокурсник Мамулашвили. Чистый недоумок или, может, специально косил под дебила. На первом занятии, чересчур пристально разглядывая банку с этим препаратом, спросил у Машкары, когда мы начнем изучать женские половые органы? На наше счастье он вскоре исчез, также неожиданно, как и появился.

Первое занятие на трупе в секционном зале было посвящено изучению мышц. Мне досталось препарировать мышцы передней поверхности бедра в области Скарпового треугольника. На этот раз трупы, предоставленные в наше распоряжение, выглядели свежее, хоть были также пропитаны формалином, как и те, что давно лежали в ваннах. На столе лежал очень крупный мужчина с могучим торсом и множеством татуировок на серой, почти бесцветной коже. Первый разрез сделала Машкара, по вертикальной линии от паховой связки до колена, обозначив границы кожно-жировых лоскутов, которые следовало отвернуть, сохранив при этом фасцию. Я принялся за дело, стараясь орудовать скальпелем, как можно нежнее, в чем, конечно, не было никакой необходимости, и провозился с первым этапом достаточно долго, постоянно отирая резиновые перчатки от налипающего жира. Джон, которому достались мышцы предплечья, к тому времени, как я возился с лоскутом, уже препарировал сгибатели. Наверное, ему помогал охотничий опыт – я помнил, как он свеживал подстреленного зайца, распяв его на штaketнике забора своей дачи. Проще всего получилось выделить портняжную мышцу, потом прямую мышцу бедра, потом гребешковую, длинный аддуктор, нежную.. Машкара потребовала выделить сосуды, в месте их выхода из-под паховой связки. У меня получилось найти только артерию. На всю жизнь запомнил, что бедренный нерв выходит в *lacuna musculorum*, а не в *lacuna vasorum*. Воистину, лучше один раз увидеть, чем...

– Ну-с, будущие хирурги, будьте так любезны, покажите мне грыжевые ворота бедренной грыжи. – насмешливо потребовала Машкара, передавая мне свою указку.

– Я еще не выделил бедренную вену, – пробурчал я – которая является латеральной стенкой грыжевых ворот. Так что, приблизительно здесь.– и ткнул указкой под паховую связку.

– Приблизительно. А оперировать вы тоже будете приблизительно? В какую сторону будете рассекать ущемляющее кольцо при ущемленной бедренной грыже? Вы знаете, что такое *corona mortis*?

– Корона смерти. – буркнул я, мучительно вспоминая, в чем состоит редкий вариант прохождения запирающей артерии.

– Ладно. Покажите, где проходит Гюнтеров канал...

Странно, но именно со Скарповым треугольником, доставшимся мне на занятиях по анатомии, у меня потом было связано одно из самых неприятных воспоминаний в моей хирургической практике...

Это было одно из моих первых дежурств в качестве ответственного дежурного хирурга по больнице, то есть старшего в бригаде. Стаж к тому времени у меня был невелик – всего три года...

В мужской смотровой, на полу, на носилках, лежал бледный, как полотно, молодой парень со спущенными брюками. Его только что с криками и матюгами бегом внесли сюда

санитары. На правом бедре, в области Скарпового треугольника, под паховой связкой, из колото-резаной раны ручьем изливалась темная венозная кровь. Парня доставила скорая, подбрав его где-то рядом от больницы. Я кинулся к носилкам, рухнул на колени и, кулаком прижимая рану, заорал, чтоб срочно звали реаниматологов. Они примчались, и тут же на полу подкололись в две вены, поставив капельницы. Померили давление – верхнее семьдесят. Операционная у нас располагалась в другом корпусе. Мы подняли носилки на каталку и повезли, с капельницами, с криками, с моими кулаками на ране.. Стоило немного ослабить давление на рану, как темная кровь моментально и властно заливала бедро. Везти надо метров пятьдесят по дорожке больничного парка. Была теплая, летняя ночь, полная луна, рядом через дорогу споконно уснувший город, которого никак не занимала в этот час дребезжащая каталка с вихляющими колесиками, облепленная со всех сторон людьми в белых халатах. Ошибка скорой состояла в том, что им следовало бы везти парня сразу в операционную, минуя приемный покой.

В операционной все уже были наготове, сразу дали наркоз, приступили к гемотрансфузии, меня, прижимавшего рану кулаками, сменил кто-то из моих помощников и я пошел мыться.

Расширив рану в обе стороны, постоянно промокая салфетками изливающуюся кровь, удалось подойти к полностью пересеченной бедренной вене. Салфетки мгновенно пропитывались кровью, и при их замене кровь также мгновенно заполняла рану, не позволяя толком ничего разглядеть. Ситуация казалась безвыходной – ты туго тампонируешь рану, чтоб остановить кровь, но, чтоб определить источник кровотечения, ты должен вынуть салфетки, а рану сразу заливает кровью, и ты опять ничего не успеваешь увидеть. Жгут в этом месте не наложишь, а давление на сосуды кулаком мало что давало. Тыча вслепую зажимами, я наложил несколько «Бильротов» по протяжению вены, отдавая себе отчет, что так делать не полагается – все должно быть под контролем зрения, но ничего другого не оставалось – кровь хлестала с неослабевающей силой, так что даже салфетки пришлось заменить вафельными полотенцами. Во мне нарастала паника – я не могу остановить кровотечение! Я помнил, что на этом уровне в бедренную вену впадает по задней стенке глубокая вена бедра, такого же калибра, из глубины задней группы мышц. Если повреждена и она, то надо переходить на ампутацию. Парню шестнадцать лет! Очередной зажим (не помнил уж какой по счету), наложенный на периферический конец вены, достиг все-таки цели – кровь перестала течь. Мы осушились, перевязали концы вены, оставили «выпускники» и зашили рану.

Сейчас это невозможно себе представить, но в те годы, в конце семидесятых, у нас на хирургическом отделении не было палаты реанимации и парня после операции поместили в общую палату под присмотр дежурного анестезиолога. Всю оставшуюся ночь я со страхом ожидал утра. Перевязка бедренной вены чревата критическими нарушениями кровообращения в нижней конечности, вплоть до развития особой формы гангрены – «флегмазии». Оставалась небольшая надежда, что венозный отток будет происходить по подкожным венам, что они возьмут на себя весь объем отекающей крови.

Утром парень был жив, но нога мне не понравилась – холодная, бледная, окоченелая, с отсутствием пульсации на стопе и неврологическими нарушениями. Мы вызвали сосудистого хирурга из больницы Мечникова. Приехал зав. отделением, Козмарев – толстый, пожилой дядька, несколько потешной внешности, с угреватым, обрюзгшим лицом и добродушным басом. Осмотрев парня, он распорядился подавать его в операционную, я пошел ему ассистировать.

– Сейчас превалирует артериальная недостаточность. – сказал Козмарев, полоща руки в тазу с «муравьями», выслушав мой рассказ о проведенной операции. Со вздетыми вверх стерильными, волосатыми руками прошел в операционную и, пока сестра напяливала на него халат, со знанием дела рассказывал ей, чем лучше всего выводить лобковую вошь.

Под наркозом сняли швы, развели края раны.. При ревизии кровотечения не было, перевязанные культы вены не кровили, диастаз между ними был порядка трех сантиметров. Козмарев обнажил бедренную артерию, лежащую рядом с веной – она не пульсировала.

– Во время операции пульсировала?

– Не знаю, не обратил внимания. Увидел, что цела, а дальше занимались ранением вены. – признался я, ощущая себя никуда не годным дилетантом. – Никак не могли остановить кровотечение.

– Видишь ли, у большинства хирургов нет личного опыта лечения таких ран. Пациентов, как правило, не успевают довести до операционной. Опель специально выезжал на передовую, чтоб увидеть таких раненых. Парню еще повезло.

– Скорая отъезжала от приемного покоя и на соседней улице увидела, что лежит человек.

– Да, повезло. Ну, что – будем артерию смотреть.

Козмарев подвел под сосуд резиновые держалки, выкроив их из хирургических перчаток, вскрыл просвет и зондом Фогарти извлек тромб. Появился слабый кровоток.

– Контузионный тромбоз. – сказал он свой диагноз. Зашив артерию, он вырезал кусок большой подкожной вены и, перевернув его клапанами вниз, последовательно вшил его в периферический и центральный конец перевязанной бедренной вены. Получился такой тоненький мостик, соединивший обе культы. Работал он виртуозно и быстро, безошибочно делая вколы атравматической иглой в сосудистую стенку. Снял клипсы – включил кровоток. Не успел я порадоваться, что теперь все сделано, как надо, как Козмарев сказал:

– Вот и все, а теперь – ампутация. – Заметив мой недоуменный взгляд, решительно высказался – Конечность не спасти. Уже развилась ишемическая контрактура мышц. А это я проделал, чтоб тебе показать, как надо поступать в таких случаях.

Ногу отняли в верхней трети бедра. Когда сели писать протокол операции, Козмарев пробасил

– Не переживай. Ты все правильно сделал. У парня огромная кровопотеря была, шок. В таком состоянии сосудистой пластикой не занимаются, тут надо жизнь спасать. Все правильно сделал.. Вызови машину, скажи, что через десять минут буду готов.

– Куда везти, в больницу?

– Нет, домой поеду. Я ведь тоже после суток. ... Иглодержатели у вас говно. Надо со своими ездить. Уже столько вам перетаскал... Куда ваша старшая их деваает?

Но это было потом, а пока я стоял возле напоминающего больничную каталку прозекторского стола, где лежал труп с содранной на бедре кожей и , как мог, отбивался от ехидных замечаний и вопросов своего преподавателя. Машкара вела нас все полтора года до экзамена. Только раз на третьем семестре, на время болезни, ее подменил аспирант кафедры – кубинец, невысокого роста, смуглый, с короткой полукруглой челкой, говоривший по-русски с сильным акцентом. Как-то раз мы вместе с ним вышли после вечерних занятий и пошли под осенним, морозящим дождем к метро по улице Льва Толстого. Он был чем-то заметно расстроен, не хотел прятаться под зонтик, что-то бормотал по-испански, злобно и отрывисто. Я спросил его, что случилось? Он печально произнес: « Сегодня сообщили, что погиб Че Гевара». – «А кто это?» – «Революционер. Соратник Фиделя. Это очень большая утрата для нас, для Кубы». Мне показалось, что в этот момент он был готов отдать все на свете, лишь бы срочно возвратиться на родину. Здесь ему не с кем разделить свою скорбь. Здесь только дождь, ветер и неприветливый свет фонарей в черноте улицы чужого города...

Разумеется, анатомия была не единственной медицинской дисциплиной, изучаемой на первом курсе. Были еще и гистология, биология, нормальная физиология... но эти кафедры не оставили во мне заметного следа, и со временем стерлись из памяти. Так физиология запом-

нилась только одним... Практическое занятие по синаптической передаче нервного импульса сделали общим для нескольких групп. Приколов булавками лягушку к дощечке, я на секунду отвел взгляд в сторону и увидел за соседним столом ту, о которой грезил потом долгие годы. Каштановые волосы ниже плеч, невыразимо нежные черты лица, плавно закругленный носик, серые, темные глаза с каким-то тонким жеманством осматривающие мир, пауза чуть приоткрывшегося рта... Марина Миллер... Красивых, привлекательных девушек на нашем курсе, в моем понимании, было немного, во всяком случае я засматривался только на двух – на Бэлу Тэслер со второго потока и ее подругу, полненькую, смешливую блондинку. Но Марина для меня всегда была вне конкуренции. Увидев ее, я почему-то сразу убедил себя в полной ее недостижимости для меня, и так и не решился открыться ей в своих чувствах. С первых дней ее всегда окружали самые яркие личности нашего курса, с которыми я не мог тягаться, – была у нас такая устоявшаяся еврейская компания ребят, остроумных, веселых, с артистическими талантами, всегда выступавшие на студенческих капустниках. Они больше, чем кто-либо другой, приносили в нашу среду то, что делает студенческие годы особенными, незабываемыми. Алик Майзус, Сеня Минчин, Женька Пикалев, Сима Смирин, Боря Шнейдерман, Кауфман... и еще, и еще. Медицинский институт... В конце второго семестра их чуть было не исключили. Это случилось в преддверии шестидневной арабо-израильской войны, когда нарастало напряжение на границе, пошли боевые стычки... и наша пропаганда выступила с осуждением Израиля. В это время наши ребята были замечены в синагоге, где якобы проходил сбор средств на строительство подводной лодки для Израиля. В шестой аудитории собрали курс с целью дать оценку вопиющему факту, заклеить позором недостойное поведение некоторых советских студентов, и потребовать от ректората их исключения. Народу набилось – яблоку не упасть. В президиуме декан, зав. кафедрой истории КПСС, члены парткома, комсорги.. Я сидел на первом ряду балкона и в разгар постыдного спектакля с гневными, обличительными речами партийного руководства почувствовал, что обязан выступить в защиту ребят. Никогда до этого я не выступал ни на каких собраниях и, как черт от ладана, бегал от всего, что было связано с «общественной» жизнью. Я давно убедился в том, что я не публичный человек, и всегда дико комплексовал, подходя к трибуне, даже читая лекции по своей специальности. Поэтому мне надо было много преодолеть в себе, чтоб поднять руку и попросить слова. Я начал витиевато – я напомнил присутствующим эпизод из фильма Ромма «Обыкновенный фашизм», где Калинин вручает государственные премии, а гитлеровская пропаганда преподносит эти кадры, как свидетельство того, что правительство СССР одаривает земельными наделами партийных активистов. Этим я хотел сказать, что любой факт можно интерпретировать ложно, и то, что ребята зашли в синагогу, вовсе не означает, что они антисоветски настроены. Заканчивая выступление, я увидел как Боборыкина наклонилась к Щербаку и что-то нашептала ему на ухо, декан вспыхнул и громко произнес, что ребята сами во всем разберутся. Проголосовали за выговор, но без исключения из института.

– Ну, Гоша, ты завернул... Я ни фиги не понял. «Стюардессу» хочешь? – сказал после собрания Алик Майзус, протягивая пачку сигарет.

– Нет. У меня «Опал». – к месту вспомнил я известный анекдот и вытащил свой Беломор.

Гошей меня прозвал Серега Гуденко из параллельной группы. Кстати, и этот анекдот я услышал от него. Худенький, остролицый мальчишка с вечно смеющимися глазами и зычным тенорком. Его нарочитая наглость соседствовала с не преодоленным с возрастом детским романтизмом. Его легко было представить в роли мушкетера, в ботфортах и шляпе с пером, готовый кинуться на любого великана. Недавно я узнал, что Серега умер от какой-то загадочной инфекции, подцепленной во время отпуска в арабских эмиратах. Его любимым анекдотом был такой: «По – французки шляпа – шапо, а презерватив – шапэ. И вот один иностранец, плохо знающий язык, приехав в Париж, идет в шляпный магазин и просит продать ему черный шапэ.

– Месье, у нас такие вещи продаются в аптеках.

– Вот как, странно.

Идет в аптеку. Просит черный шапэ.

– Месье, извините, но у нас нет черных. Есть японские, с усиками, на пружинках...

Почему именно черный?

– Видете ли, я еду к вдове моего покойного друга...

– О, месье! Как это тонко! ».

Тоже в анатомичке рассказал, на черной лестнице...

Два года нас щадили, а вот третий курс начался с колхоза. Сбор на Витебском вокзале, оттуда электричкой до Павловска и на автобусе до села «Федоровское». Накануне вечером, выпив на двоих бутылку водки, с Джоном отправились в ЦПКО, на танцы. На «пыльник» – так называли танцевальную площадку, устроенную на Масляном Лугу, которую зимой заливали под каток. Чего нас понесло туда? Хотя, понятно чего... За высокой решетчатой оградой грохотала музыка, под которую громадная толпа народу в свете прожекторов выражала себя в танцах. «Во лбу» уже было, и я, мягко говоря, не вполне качественно мог оценивать происходящее перед глазами. Счастливый мир кружился вокруг, затягивая в свой водоворот. Остановив свой выбор на грудастой девице, по всем признакам принадлежавшей к простому сословию учениц ПТУ, я пригласил ее на танец. После танца совершенно неожиданно для себя я оказался лежащим на вытоптанном кругу «пыльника», да еще с разбитой мордой. Вокруг меня сконцентрировалась радостно визжащая компания девиц, среди которых была и моя танцевальная партнерша, которая громче других подбадривала кого-то дать мне еще. Всем было очень весело. Появившийся откуда-то Джон помог мне встать и поспешно увел прочь, не взирая на мое сопротивление и яростное стремление отомстить неизвестно кому.

Утром, собираясь на вокзал и разглядывая себя в зеркале, с мазохистским удовлетворением произнес: «Так тебе и надо, бурш хренов».

В тамбуре переполненного вагона электрички, когда я курил, одолеваемый тошными мыслями о себе, ко мне подошел наш Алик Смирнов, бородатый крепыш, казавшийся мне сейчас раздражающе бодрым. Поставив на пол свой тяжелый, как у альпиниста, рюкзак, он спросил своим тоненьким, но хриплым голосом

– Фотик принес? – напоминая о моем обещании захватить с собой фотоаппарат.

Оскорбленный такой бестактностью, я не сразу сообразил, что он не видит моего синяка. Пришлось приподнять черные очки и продемонстрировать причину своей забывчивости.

– Извини. Не до фотика было.

– Гоша! Как же они до тебя допрыгнули?

Разместили нас в длинном, деревянном бараке, на нарах, устланных старым сеном. На улице, под навесом – обеденный стол с лавками и побеленная печь, топившаяся дровами. Стали обживать. На дверях туалетной будки вместо привычных «М» и «Ж», нарисовали генетические символы мужской и женской особи: кружок с крестиком – женщина, кружок со стрелкой – мужчина. (Много лет спустя, оказавшись в Праге, я увидел такую же символику на дверях туалета в ресторанчике у Карлова моста). Нацепили плакат на стену барака: «Товарищи колхозники, поможем студентам убрать урожай!». Утром шли на поля, дергали морковку из грядок, сортируя в ящики: «стандарт», «не стандарт». Дневная норма – двадцать ящиков. Мы с Джоном записались в грузчики, сопровождали колесный трактор с прицепом, вываливая в него морковку из наполненных ящиков, собирая их по всему полю. За рулем трактора сидел белобрысый, предельно флегматичный парень, постоянно погруженный в какую-то гипнотическую спячку. Опростав очередные ящики, мы громко окликали его и тогда он, на миг встрепенувшись и мотнув головой, словно сгоняя с себя остатки сна, врубал передачу и, привычно

трясаясь на сиденье, вел трактор дальше вдоль грядок. Один раз, когда выдался жаркий день, он отвез нас искупаться на какой-то водоем с гусями, за что мы ему были очень благодарны.

Контролировал от совхоза нашу работу молодой, пышнотелый, двухметрового роста мужик – управляющий. Он приезжал на двуколке, запряженной гнедой лошадкой, одетый в серый макинтош, и черную шляпу. Общаясь с нами, старался вести себя культурно, сдержанно, не поддаваться обаянию наших девушек и гнуть свою линию на качественное выполнение работы.

После работы играли в футбол. Роль судьи брал на себя Шура Маянц, высокий, широкоплечий, бритоголовый атлет, признанный на курсе поэт и красавец. Естественно, что его дальнейшая карьера была связана со спортивной медициной, на старших курсах он уже подрабатывал врачом, чуть ли не в футбольном «Динамо». Невероятного шарма был парень. (Маянца тоже уже нет в живых). Его фирменной фразочкой победителя было притворно-заботливое: «Ну, как? Не стошнило? Хуже не стало?» В его устах все звучало серьезно, по-мужски.. «Не надо, ребята».

На нарах дулись в преферанс, все поголовно, и меня научили. «Пошли, Гоша, по ноль, ноль, ноль... за вист?». Влившись в компанию картежников, ближе познакомились друг с другом и стали приятелями. Женька Жаринов, Вадик Мосягин, Сашка Козлов... Все со временем стали профессорами, а ведь были обыкновенными раздолбаями. Вечерами сидели у костра, горланили «Дядю Зуя» под гитару и весь студенческий репертуар того времени: Кукин, Окуджава, Визбор, Клячкин... Высоцкого не пели – кощунство своими голосами... Остриженный, как уголовник, Сираздинов как-то затянул неизвестное: «Прорезала вышка... по небу лучом. Как же это вышло, что я не при чем? Как же нам надумать... компромисс? Через нашу дурость разошлись». Интересно, что через двадцать лет я оперировал автора этой песни.

Несколько раз видел Марину, она по-прежнему была постоянно окружена плотным кольцом своих сокурсников, среди которых стал выделяться, как ее главный ухажер, ничем не примечательный на мой взгляд парень по фамилии Котляров. Они уже ходили в обнимку, не стеснялись выставлять свои отношения на показ и вскоре поженились, одними из первых на курсе...

За целый месяц только один раз удалось отпроситься и съездить на денек домой – помыться, привести себя в человеческий вид. К концу вся эта колхозная романтика так обрыдла, что мы не могли дождаться, когда вновь приступим к занятиям..

С осени началась фармакология. Лекции читал Вальдман – корифей и будущий академик, чьим именем будет назван институт фармакологии. К тому времени мы уже научились и привыкли «мотать» лекции, но лекции по «фарме» старались не пропустить ни одной. На этой кафедре со мной произошел конфуз – я влюбился в преподавательницу, которая вела у нас практические занятия. Не вспомню, как ее звали – стройная женщина лет тридцати пяти, очень приятное, тонкое, умное лицо, странная, преждевременная седина с каким-то голубым отливом, и голубые, грустящие глаза. Мне нравился ее бархатный, рассудительный голос, мне нравилось, как она одевается, как она ходит – во всем проступала трогательная женственность, дисциплинированно подчиненная избранной профессии. Вероятно, она догадывалась о моих чувствах. В моих глазах это было не трудно прочесть, когда наши взгляды пересекались.

– Опиаты, кроме наркотического действия, вызывают торможение перистальтики. Это их свойство используют в хирургии. В каких случаях? – обращалась она с вопросом ко всей группе, надеясь получить правильный ответ именно от меня, но я тоже понятия не имел, зачем вызывать обстипацию у хирургических больных. А она, укоризненно покачав головой, давая понять, что разочарована моей тупостью и поэтому не могу претендовать на ее особое отношение ко мне, добивала меня очевидностью ответа:

– Ну, что же вы... Конечно при операциях на прямой кишке, когда нужно задержать стул в послеоперационном периоде.

(А еще хирургом хочет быть...).

Однажды я пришел на занятия в новом, шикарном свитере, привезенным родителями из Германии, – черный, толстой вязки, с широкой оранжевой и белой полосой поперек груди. Войдя в класс и увидев меня в обновке, она притворно ахнула и, замерев, прикрыла рукой глаза, как бы ослепленная моим внешним видом. На ком-нибудь другом этот свитер остался бы ею незамеченным, я был уверен в этом – только по отношению ко мне она позволяла себя легкую фривольность, такие знаки внимания. Я был настолько покорен ею, что, сдав экзамен и расставшись с кафедрой, через несколько дней остановил ее в коридоре главного корпуса и, набравшись смелости, протянул листок со своими стихами, посвященными ей. Помню только одну строчку оттуда «...где в Ваших глазах голубые форели тонут». Стоя у окна, она прочла их при мне, и я понимал, что совершаю громадную ошибку, которую уже не исправить. Она подняла глаза и посмотрела на меня так жалобно, так растерянно.. и было непонятно, кого она сейчас жалеет больше: меня или себя. Наверное, никто раньше ей не писал стихов... Она ничего не сказала мне, я тоже молчал; мимо проходили студенты, мои однокурсники, которые, наверное, думали, что я пришел к ней на отработку. Конечно, я поставил не только себя, но и ее в идиотское положение. Дотронувшись до моего плеча, она так же нежно шепнула «Спасибо» и ушла, унося с собой листок.

«Оперативная хирургия и топографическая анатомия». Начало занятий на этой кафедре мы ждали с особым нетерпением. Это было уже серьезным приближением к профессии, к ремеслу. Слово «операция», до этого носившее только абстрактный характер, приобретало здесь вполне конкретное предметное содержание. Названия хирургических инструментов, которые мы заучивали наизусть, звучали для нас, как пароли, пропускающие в узкий круг избранных. Практически все инструменты называются по автору: зажимы Бильрота, Кохера, Микулича, Пеана, Пайера... Иглодержатели Хегара, Матье... пила Джильи, лопаточка Буяльского, спица Киршнера, крючки Фарабефа... Задачи научить нас оперировать никто не ставил – это невозможно в рамках одного курса, нас учили уметь пользоваться зажимами, троакарами, вязать узлы, сшивать ткани... по картинкам в учебниках учили основным этапам простейших операций. Заново, вернее по новому учили анатомии – теперь недостаточно было знать отдельно мышечную систему, отдельно сосудистую.. теперь требовалось знание того или иного органа, той или иной области человеческого тела в целом, в едином комплексе со всеми сосудами, нервами, мышцами... Последний этап обучения – выполнение операции резекции тонкой кишки на собаках. Это было ужасно. Полное замешательство при виде живых внутренностей, полное неумение работать с инструментами на живом органе, полная зависимость от подсказок преподавателей. Руки не слушались, кончики зажимов плавали, не могли попасть в нужное место, иглы гнулись, вращались в держателях, прорезывались нитки... Катастрофа Стыд. Единственное утешение, что пес остался жив после нашей операции.

Недавно по телевизору показывали ток-шоу с участием известных журналистов, историков, политологов. Обсуждали тему – почему Красная Армия оказалась не готовой к войне в июне сорок первого года? Выдвигались традиционные обвинения в пренебрежении данными разведки, в просчетах Сталина, в техническом отставании вооружений и т.д. И никто не назвал главную причину. Ведь, что значит – быть готовым к войне? Это значит – уметь воевать. Не на бумаге, не на картах с синими и красными стрелами, не на штабных играх, а на полях сражений. Гитлеровские армии к моменту нападения на СССР уже два года воевали, в Европе и Северной Африке. Немецкие генералы имели практический опыт руководства большими войсковыми соединениями. Те же маршалы, что возглавляли группы армий Центр, Север, Юг командовали

группами армий при нападении на Францию и Голландию. Те же фон Лееб, фон Бок и Браухич. Те же Гудериан и Гот возглавляли танковые корпуса. И побеждали не числом, а умением, следуя заветам Суворова. Французские танки по техническим характеристикам, по бронезащите, были лучше немецких, зато в каждом немецком танке была рация. Голландия пала в результате одной, блестяще проведенной воздушно-десантной операции. Умение маневрировать привело к окружению английского экспедиционного корпуса в Дюнкерке. У нашей армии за плечами был только опыт ограниченных боевых действий в Монголии и Финляндии, не шедший ни в какое сравнение с театром военных действий в Западной Европе, где боевой опыт приобретали миллионные группировки. Недаром отец, профессиональный военный, вспоминая войну, говорил, что не было на свете лучше армии, чем немецкая. В двадцатом веке русская армия не одерживала побед в крупных сражениях. Гибель двух армий в Пруссии под Таненбергом, а до этого были Порт-Артур и Цусима. Поражение уже Красной Армии от белополяков в 1919г. Откуда взялась эта самоуверенность в непобедимости Красной Армии? Весь сорок первый год мы учились воевать, истекая кровью, в бесчисленных «котлах», в отступлениях. Сравнить немецкую армию с нашей в сорок первом – это сравнить практикующего хирурга со студентом третьего курса, выполняющим операции только в своем воображении.

На третьем курсе нас в первый раз подпустили к больным. В клиниках кафедр «Пропедевтики» и «Общей хирургии». На терапии нас учили слушать тоны и шумы сердца, хрипы в легких, учили перкутировать грудную клетку, пальпировать брюшную полость, находить увеличенную печень, селезенку, почки... учили симптомам болезней. Главной задачей, которую я поставил перед собой за время обучения на общей хирургии, было – привыкнуть к виду крови. Это оказалось для меня серьезной проблемой. Когда в перевязочных и операционных я оказывался свидетелем хирургического воздействия на живую плоть, мне становилось не по себе. Я чувствовал, как мои ноги делались ватными, что еще немного, и я завалюсь в обморок. Это нельзя было назвать просто дурнотой или головокружением, это совершенно особое состояние мозга, когда воображение не может избавиться от предчувствия какого-то более страшного развития событий, происходящих сейчас на твоих глазах. Я нарочно вставал за спинами сокурсников, дескать я высокий, мне и так все видно, под надуманными предложениями выходил в коридор, и оказавшись в одиночестве, опускался на корточки у стены и ждал, когда приду в себя, когда на смену перевозбуждения придет спасительное затормаживание нервных реакций и позволит мне вернуться в операционную уже совершенно спокойным. Я знал, что должен, обязан привыкнуть к тому, как податливо проминается кожа под нажимом скальпеля, мгновенно окрашиваясь красной кровью, теряя свою эволюционную суть защитной оболочки; как струя гноя, вырываясь под давлением из вскрытого абсцесса, забрызгивает халат и маску хирурга; как исходит невидимый, но ощущаемый сознанием пар от хрящевых поверхностей мышечков при артротомии. А еще была обида и зависть к своим сокурсникам, которые в отличие от меня не испытывали никакого смутения, наблюдая за работой хирурга. Мне удавалось скрывать от них свой «порок», они ничего не подозревали, им и в голову не могло прийти такое. Меня же природа обделила и на этот раз, предоставляя самому приобретать качества, которыми других одарила при рождении. Но к концу курса я все-таки воспитал свои нервы, и с тех пор мог выдержать вид самой чудовищной, самой ужасной раны.

Следующим шагом на подступах к специальности должна была стать кафедра факультетской хирургии на четвертом курсе. Ею заведовал профессор Колесов Василий Иванович. Очень маленького роста, тщедушного телосложения, некрасивое старческое лицо в хрупких очках, тоненький голосок... Внешне – совсем незаметная личность. Во время клинических обходов, когда он в сопровождении своей свиты из доцентов и ассистентов (как на подбор здоровенных и толстых) заходил в палату, его никто из больных не принимал за главного. Он был

непререкаемым авторитетом по острому аппендициту, мы занимались по его монографии, но главным его научным достижением был вклад в хирургическое лечение ишемической болезни сердца. Им был предложен и внедрен в практику маммаро-венечный анастомоз. Те годы были годами становления коронарной хирургии, и это направление было главенствующим в научной деятельности кафедры, помимо заболеваний щитовидной железы и рака пищевода. Широкому признанию маммаро-венечного анастомоза помешала распространенная сначала в США, а потом по всему миру операция аорто-коронарного шунтирования. Именно она стала золотым стандартом в хирургическом лечении коронаросклероза. Вернувшийся после стажировки в Хьюстоне, московский хирург Князев, возглавлявший это направление в РАМН, и слышать не хотел о других вариантах операций, кроме АКШ, и открытие Колесова было отодвинуто на задний план. Но кафедра продолжала заниматься этой проблемой. Сын Колесова – Евгений Васильевич, тоже хирург и доктор наук, первым в стране выполнил операцию маммаро-венечного анастомоза у больного с острым инфарктом миокарда.

Мы с Джоном записались в кафедральное СНО, которым руководил ассистент Орехов, воплощавший ненавидимый мною тип врача, чему немало способствовала и внешность – не ладно скроен, но крепко шит, короткая шея, жабые лицо в очках, не отражающее никаких эмоций, давящий взгляд, педантичность и прилежание подменяют талант, низко, до бровей, надетая врачебная шапочка.. и сухой, скрежещущий голос. Врач– администратор. Первое заседание общества, на которое мы пришли, проходило в аудитории кафедры. Председательствовал Орехов. Предстоял клинический разбор нескольких больных с редкой патологией. Кроме студентов, занимающихся в СНО, в аудитории сидели ординаторы клиники, аспиранты. Когда Орехов объявил диагноз последнего из представленных на демонстрацию больного, я подумал, что ослышался. «Семинома с метастазами в кости черепа». Лечащий врач зачитал историю болезни, показал рентгенограммы и потом ввел в аудиторию молодого парня в больничной пижаме. Ему было двадцать семь лет, по профессии – каменщик. Четвертая стадия рака, не подлежащая оперативному лечению, дни его были сочтены, хотя внешне парень выглядел вполне здоровым, только на бритой голове определялись небольшие, четко очерченные припухлости, размером с грецкий орех. Ему задали несколько вопросов, после чего увели. Я кисло усмехнулся и посмотрел на Джона. Про меня он все знал. «Будет тебе, Гоша. Даже не думай об этом.». –«Во всяком случае, семь лет у меня в запасе есть» – ответил я и постучал о деревянное сиденье. Конечно, узнать о том, что такая же, как у тебя аномалия развития, привела к злокачественному процессу, было неприятно. Как любая информация, полученная случайно, да еще при таких необычных обстоятельствах, она воспринималась, как знак свыше. Общеизвестно, что студенты-медики подвержены канцерофобии, постоянно находя у себя симптомы ракового заболевания. Но я действительно выкинул этот эпизод из головы и не заикливался на нем.

В СНО нас прикрепили к доценту кафедры – Романковой. Она писала докторскую диссертацию на тему, предложенную ей Колесовым. Ей было поручено исследовать, можно ли использовать для коронарного анастомоза селезеночную артерию. Дело в том, что внутренняя грудная артерия тоже бывает поражена атеросклерозом, и тогда ее использование теряет смысл. В качестве альтернативы в таких случаях по мнению Колесова могла бы служить ветвь селезеночной артерии. Предстояла серия экспериментов на собаках. В качестве первого этапа исследований было решено опробовать модификацию операции Вайнберга. В конце сороковых годов, канадский хирург Вайнберг, предложил с целью улучшения кровоснабжения сердца вшивать внутреннюю грудную артерию в туннель, проделанный в миокарде. Конечно артерия тромбировалась, но расчет был на то, что от нее со временем прорастут в сердечную мышцу новые микрососуды. Конечно, эффективность такой операции была очень низкой. Но в то время чего только не предлагали, чтоб получить дополнительное коллатеральное кровоснабжение сердца – сыпали тальк в полость перикарда, перевязывали сосуды за грудиной – операция Фиески... Романкова должна была отработать технику имплантации селезеночной арте-

рии в миокард. С высоты современных позиций идея, конечно, бредовая, но приказы шефа не обсуждаются.

Мы должны были ассистировать ей на операциях и после эвтаназии забирать у собак сердца, отправляя их на гистологическое исследование. Операции проходили в операционной ЦНИЛа (Центральная научно-исследовательская лаборатория) – мрачное, трехэтажное здание, стоявшее на отшибе; в подвале размещался виварий. Территория института постоянно была разрыта из-за ремонтов теплосети, и добираться до ЦНИЛа приходилось, перепрыгивая через канавы. К опытам приступили с началом зимы, проводя операции по четвергам каждую неделю. График иногда нарушался из-за нехватки собак в виварии.

Наркоз обеспечивал анестезиолог, работавший в клинике факультетской хирургии, – молодой, трудолюбивый и дружелюбный парень. Уснувшую собаку фиксировали на операционном столе, мы с Джоном выстригали шерсть по ходу нужного межреберья и брили, вооружась лезвием «Нева», зажатым в хирургический зажим. Оперировала Романкова, мы ассистировали. Торакотомия, ранорасширителем раздвигали ребра, через разрез диафрагмы проникали в брюшную полость, выделяли артерию, потом на работающем сердце тупым путем, раздвигая бранши зажима, проделывали туннель в миокарде и вшивали туда тяж с выделенной артерией. Редкие швы на рану перикарда, дренаж и ушивание раны грудной клетки, после раздувания легких анестезиологом. Для нас с Джоном это был бесценный опыт, ведь мы участвовали в настоящих операциях, учились работать с инструментами, левой рукой открывать зажимы, вязать узлы; позже нам доверяли самостоятельно делать доступ, ушивать плевру, межреберные мышцы... Однажды на операцию пришел младший Колесов в сопровождении аспиранта кафедры Дулаева. Они хотели опробовать, недавно разработанный ими, миниатюрный сосудосшивающий аппарат для наложения анастомоза с коронарной артерией. Евгению Васильевичу в то время было лет тридцать пять, на кафедре его называли Женей. Наверное, он был похож на отца в молодости – такая же нескладная, не спортивная, фигура, детское лицо в очках, так и не возмужавшее с возрастом, мягкий интеллигентный говорок. Оперировал легко, увлеченно, играючи, с ясным пониманием, что нужно делать в каждую минуту. Указания своим помощникам по ходу операции отдавал не категорично, но так уверенно, что не исполнить их было нельзя. Я помню, как в тот раз он все напевал под маской: «А снег повалится, повалится.. и закружит веретено...». Прицепилась к нему эта песня. Может быть именно тогда, следя за тем, как он оперирует, я вывел для себя закон – руки хирурга должны быть невесомыми, они должны парить, как в невесомости, им должно быть легче подниматься, чем опускаться. Наложить анастомоз тогда не получилось, не смогли «разбортовать» артерию на аппарате, пришлось заканчивать имплантацией в миокард. «И моя молодость поведется ходить цыганкой под окном»... Ничего, в другой раз получится.

Гистологические исследования препаратов сердца в различные сроки после операции показало образование новых кровеносных сосудов в зоне имплантации артерии. На городском конкурсе студенческих научных работ мы получили какую-то грамоту, а вот Алмазов – ведущий кардиолог города и будущий академик, на научной институтской конференции, выслушав наш доклад, сказал, что лечение ишемической болезни сердца останется все-таки за терапевтами. Это было в семидесятом году. Как он ошибался, именно хирургия, внедрение АКШ, совершило переворот в этой области.

Приобщение к экспериментальной хирургии позволило нам впервые, всерьез ощутить себя хирургами. Хирургический стерильный халат, который надевала на тебя операционная сестра и завязывал на спине санитар, это был уже не маскарад. Это уже не любование перед зеркалом вроде того, как в детстве нравилось примерять парадный мундир отца с полковничьими погонами, с двумя орденами Отечественной войны и тремя Красной Звезды, и кортик на расшитом золотом поясе. В то же время в нас окрепла решимость в правильности избранного пути, и теперь пора было ближе знакомиться с хирургией клинической. Два раза

в неделю «факультетская хирургия» дежурила по «скорой», то есть по оказанию экстренной хирургической помощи. Конечно, это были не такие напряженные дежурства, какие приходилось нести обычным городским больницам, и предназначались в основном для обучения студентов. Дежурный врач звонил центральному диспетчеру на «03» и заказывал сколько больных и с какими диагнозами следует привезти. Как правило это были пациенты с подозрением на острый аппендицит. Смешно даже сравнивать те идиллические дежурства с «мясорубкой», которая творилась в приемных покоях городских больниц, работавших на «скорую» по городу.

Мы стали ходить на дежурства, чтоб присутствовать на операциях. Сначала по тем дням, когда дежурил Джонов родственник, а потом, когда к нам привыкли, в любые другие дни. Это время осталось во мне самым приятным воспоминанием об институте. Мы приходили вечерами, когда стихла дневная суета, связанная с учебным процессом и клиника, наконец, могла заниматься тем, чем ей в первую очередь положено заниматься – лечебной работой, в тишине, ни на что постороннее не отвлекаясь. Горели фонари у входа, облетали осенние листья, и на крыльцо, контрастируя с чернотой сумерек, выходили люди в белых халатах, наспех покурить Приемный покой располагался на первом этаже отделанного темно-красной плиткой, красивого, но старого здания, новый корпус для клиники только строился. Экстренная операционная была маленькой, тесной и душной, без окон, освещалась только операционной лампой над столом. Самой часто выполняемой операцией была аппендэктомия. Оперировал кто-нибудь из дежурных хирургов и обязательно с двумя ассистентами – роскошь, которую здесь могли себе позволить, так как недостатка в желающих среди студентов старших курсов и клинических ординаторов, также приходивших на дежурства, не было. Чаще других ассистировал шестикурсниК Коротеев Илья – высокий, статный, парень, которому очень шел операционный костюм, халат и особенно колпак, напоминавший татарскую квадратную тюбитейку, только белую. Мне нравилось, как он наполнял шприц из банки с новокаином – одной рукой, сдвигая указательным пальцем корпус шприца относительно поршня. Эффектно, большинство делают это двумя руками. Операционной сестрой подрабатывала студентка пятого курса Обезгауз, очень милостивая, полненькая брюнетка, ее младшая сестра училась с нами на курсе, в параллельной группе. Чтоб волосы не выбивались из-под колпака, она дополнительно обвязывала лоб широким бинтом, что на мой взгляд придавало ее облику еще большую пикантность. «Он терапевт, и дети его будут терапевтами» – отвечал ей лихой Коротеев, вспоминая какого-то своего сокурсника. Сам Коротеев большим хирургом тоже не стал, переквалифицировавшись со временем в анестезиолога; недавно я прочитал его фамилию в списке профессоров кафедры анестезиологии МАПО – и был разочарован, вспомнив, как именно к нему, к его идеальному облику хирурга, испытывал зависть тогда. Сейчас я понимаю, что сотрудники кафедры не были великими спецами в области экстренной хирургии органов брюшной полости, их достоинством была плановая хирургия. Тем более непонятной кажется мне сейчас та легкость, граничащая с безответственностью, когда они доверяли выполнение операций начинающим хирургам, зачастую даже не присутствуя сами в это время в операционной. Помню, какое впечатление на меня произвел клинический ординатор из Ливана, оперируя острый аппендицит.. Ему было сильно за тридцать, внешне – типичная «дубина стоеросовая», с огромными, неуклюжими руками и совершенно тупой, деревенской физиономией с безумным взглядом. Где такого откопали? Нельзя сказать, что у него дрожали руки, они просто ходили ходуном с чудовищно огромной амплитудой, так что делалось страшно всякий раз, когда в них оказывался скальпель или игла. Человек ничего не соображал, но старался и волновался. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы не Коротеев, ассистировавший ему и хватавший ливанца за руки в нужный момент.

На пятом курсе на смену факультетской пришла госпитальная хирургия. Кафедра располагалась в новом, только что построенном здании НИИ пульмонологии, директором которого и одновременно заведующим кафедрой был Федор Григорьевич Углов. Как ни странно,

но из всех хирургических кафедр она запомнилась меньше всего. Единственно, чему мы там научились – это переливанию крови. Углов прочитал всего две или три лекции, а остальной курс читал доцент кафедры Стуккей. Старчески худощавый, абсолютно седой, исполненный профессионального благородства, опытный врач. Отец Стуккея, тоже известный хирург, был застрелен в своем кабинете из ружья каким-то безумцем, родственником пациента, скончавшегося после операции. В новой клинике на потолках операционных были устроены «фонари», через которые можно было наблюдать за ходом операций. Но деталей разглядеть было нельзя, и толку от этих просмотров было мало. Один раз ассистировал Углову. Он делал секторальную резекцию молочной железы у женщины по поводу фибромиомы. Операция простая, и скорее всего пациентка была бластной, раз ее оперировал сам академик. Я ждал, что увижу в исполнении Углова высочайшую технику оперирования, о которой в медицинской среде ходили легенды, но в этот раз ничего особенного не увидел, небольшой объем операции не позволял развернуться во всей красе. Углов, конечно, меня не узнал и не мог узнать... Еще до поступления в институт, но уже определившись с выбором профессии, я пришел на его лекцию о здоровом образе жизни, которую он читал в районном дворце культуры. После лекции я подошел к нему и спросил о его взгляде на проблему гемолиза в аппаратах искусственного кровообращения, вычитанную мной из воспоминаний Амосова. Это был предлог, чтоб пообщаться, постоять рядом со своим кумиром. Углов, одевая пальто, сказал, что никакой проблемы тут не видит. ..Удаленную опухоль, как положено, отправили на срочное гистологическое исследование, и, пока ждали ответ, мы примостились на винтовых табуретках возле окна, не размываясь. Чтоб занять время, Углов прочитал мне краткую лекцию о заболеваниях молочной железы, применительно к сегодняшней операции. Пришел ответ, что опухоль доброкачественная, и мы пошли размываться. В следующий раз мы встретились с ним через десять лет. Я заведовал отделением, а Углов пришел провести своего знакомого, лечившегося у нас. Он был уже совсем старым, но все еще бодрым и энергичным.

В рамках госпитальной хирургии преподавали курс травматологии, который тоже, можно сказать, прошел впустую. Думаю, что свою роль в этом сыграл неправильно организованный учебно-методический процесс. Костную травму нельзя изучать наскоком, как побочную дисциплину. Больше времени должно уделяться не общим представлениям, а индивидуальным занятиям в гипсовальных, перевязочных. Вместо того, чтоб заставлять студентов зубрить сроки иммобилизации при разных переломах, (эти знания неизбежно сами собой придут во время работы) было бы лучше дать им самим вправить хоть один подвывих стопы или наложить скелетное вытяжение. В институтах травматологию надо преподавать не в стационарах, где на койках лежат уже обработанные больные, а в травмпунктах, где происходит первый контакт с пациентом. О себе могу сказать, что я вышел из института, ничего не умея в травматологии. Даже в акушерстве – специальности более отдаленной от хирургии, чем травма, я умел больше. По крайней мере, роды с головным предлежанием плода, мог принять.

В медицинских вузах учатся шесть лет – на год больше, чем в остальных. На шестом курсе нас разделили на три потока по избранным специальностям: терапия, хирургия, и акушерство с гинекологией. Наша, заново сформированная, группа стала полностью «хирургической». Вместо наших девушек, ушедших кто в терапию, кто в гинекологию, к нам влились несколько ребят из параллельных групп и две новые девушки. Одна из них – тихая и блеклая Аня Бутузова потом стала женой младшего Колесова и родила ему четырех сыновей.

На весь учебный год за нами закрепили преподавателя все с той же факультетской хирургии – ассистента кафедры Хотомлянскую Иту Наумовну. Ее возраст можно было определить, как «постбальзаковский», лет пятидесяти. Высокая, статная, красивая женщина напоминала скорее донскую казачку, чем еврейку – если судить по имени. Громкий, южнорусский говор, крупное овальное лицо с гладко зачесанными кзади и собранными в пучок черными волосами, насмешливо-пытливый взгляд, убежденного в своей правоте, человека... Ей легко удавалось

изобразить на своем лице женское презрение, наигранное недоумение, притворный восторг. Для нее не существовало субординации, безо всякого смущения и подобострастия она общалась с любым высокопоставленным чиновником в институтской иерархии, но с подлинным уважением относилась к авторитетам в нашей профессии. Такой вольности и независимости в немалой степени способствовало то обстоятельство, что Ита Наумовна была женой Ганичкина – ведущего специалиста по раку толстой кишки и в недавнем прошлом директора НИИ онкологии в Песочной. Они жили в старинном доме на углу Кировского и Скороходова, на втором этаже. В подвальчике дома размещался пивбар, который мы часто посещали будучи студентами. Просторная, трехкомнатная квартира была истинно профессорской – антикварная мебель, напольные вазы, хрусталь, фарфор, картины и все в идеальной чистоте и академической тишине. Супруги любили путешествовать, что в те времена было малодоступным занятием для большинства, и объездили весь мир, привозя из заграничных турне разные марки коньяка для своей коллекции. Когда я заканчивал аспирантуру, я еще раз очутился в квартире дома на Кировском. Ганичкин должен был написать отзыв на мою диссертацию, и я, зная, что обычно соискатель сам пишет отзыв – так называемую «рыбу», принес ему подготовленный отзыв и протянул его Ите Наумовне, чтобы она передала мужу. «Что ты.. Андрей Михайлович всегда сам пишет» – и замахала на меня рукой, чтоб я даже и не заикался. Провожая меня в дверях, она расспросила меня о судьбе Джона, Юрочки.. всех помнила. Отзыв Ганичкин дал хороший, дельный.

Занимаясь с нами на шестом курсе, Хотомлянская ставила перед собой задачу расширить наш хирургический кругозор. Используя свои связи в хирургических кругах города, она договаривалась с другими клиниками, больницами, чтоб нас там приняли и показали специфику своей работы. Так, благодаря ей, нам посчастливилось увидеть мастэктомия в исполнении С.А. Холдина в НИИ онкологии. Он как раз выполнял расширенную мастэктомию, с удалением грудины, – операцию, которая осталась в хирургии под именем Урбана – Холдина. В его руках это был шедевр. Таких хирургов больше не будет.

Сама Хотомлянская уже почти не оперировала, только раз я видел ее в операционной. Она осуществляла общее курирование нашей группы, а во время практических занятий в клинике нас распределяли по два-три человека к другим преподавателям. С ними мы смотрели больных, ассистировали на операциях. К сожалению, узкая специализация клиники не способствовала приобретению необходимых практических навыков в хирургическом лечении наиболее распространенных заболеваний, с которыми приходится сталкиваться общему хирургу. Занятия в Областной больнице были призваны устранить этот недостаток, но тоже были малоинформативными в целом. Хирургическим отделением там заведовал молодой, талантливый Седлецкий, потомственный хирург, очень энергичный и подвижный. Его все время разрывали на части: то он прилетал откуда-то из области, где оперировал по санавиации, то срочно вызвали в операционную на что-то сложное, то требовали в кабинет к главврачу. Однажды я ему ассистировал на спленэктомии у больного с заболеванием крови. Селезенку он удалил мгновенно, работал быстро и я старался не отставать от предложенного темпа, завязывая швы. После операции он столкнулся в коридоре с Хотомлянской и, кивнув в мою сторону, сказал: «Из него хороший хирург выйдет». Приятно было видеть, что Хотомлянская была с ним согласна. А «хороший хирург» через неделю облажался по полной программе. Мне дали прооперировать острый аппендицит. Впервые! Помогал мне такой же студент-шестикурсник, но из педиатрического. И я, десятки раз присутствовавший на аппенэктомии в качестве зрителя и знавший весь ход операции в деталях, оказался совершенно беспомощным, когда взял в руки скальпель. Еле-еле, неумело и с огромным трудом, я вошел в брюшную полость. У меня ничего не получалось, и главное – я не мог найти купол слепой кишки, чтоб вывести его в рану вместе с отростком. То, что раньше мне представлялось свершено несложным, наблюдая со стороны, внезапно превратилось в неразрешимую проблему. Ассистент, к моему стыду, оказался толко-

вее меня – он предложил поменяться местами и , пусть действуя тоже не безупречно, но смог завершить операцию. Позор!! Я долго переживал свое фиаско.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.